

КЛАССИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ



НОРА ГАЛЬ
СЛОВО
ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ

Нора Галь

Слово живое и мертвое

Серия «Классика истории и культуры»

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39472339

Слово живое и мертвое / Э. Я. Гальперина: АСТ; Москва; 2019

ISBN 978-5-17-111883-9

Аннотация

«Но ведь это вошло в язык!» – спорили и спорят с переводчицей Норой Галь, пытаясь отстоять то или иное праздное заимствованное слово, тот или иной не раз слышанный оборот «Немало таких словесных уродцев уже "вошло", непоправимо "вошло" – не выгонишь!» – неизменно парирует она со страниц своей книги, которая еще очень долго будет учебником для переводчиков, редакторов и всех тех, кому дорого русское слово. И шире – сводом непреложных правил бережного обращения с родным языком.

Элеонора Яковлевна Гальперина (1912-1991) – редактор, литературный критик и переводчик, подаривший русскому читателю «Маленького принца», «Постороннего», «Поющих в терновнике», множество рассказов Рэя Брэдбери и Эдгара По... и «Слово живое и мертвое», собранное из лоскутков огромного переводческого и жизненного опыта.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

О книге и ее авторе	5
Для ясности	19
Берегись канцелярита!	23
Откуда что берется?	23
Жечь или сушить?	38
Словесная алгебра	51
А если без них?	61
Куда же идет язык?	104
Мертвый хватает живого	128
Туманы...	145
Не своим голосом	155
Веревка – вервие простое	173
Конец ознакомительного фрагмента.	178

Элеонора Гальперина

Слово живое и мертвое

© ООО «Издательство АСТ», 2017

© Э. Я. Гальперина (наследники), 2017

О книге и ее авторе (Вместо предисловия)

Для кого эта книга? Для всех, кому дорог родной язык. Для всех, кто говорит на русском языке, любит его, болеет за него. Взгляните на названия главок: «Мистер с аршином», «Свинки замяукали», «Предки Адама» – и станет ясно, что это не сухой трактат для коллег автора – переводчиков и редакторов.

Да, для них она – незаменимый советчик.

Но – не только для них.

«Книга бесценна для всех, кто пишет», – говорилось в одном из читательских писем.

Да – для литераторов, журналистов.

Но – не только для них.

Преподаватели говорили Норе Галь, что книга служит им в работе со студентами.

Да, но – не только для них.

Это доказали сотни читательских писем.

Откликнулись на книгу люди самых разных профессий.

«Читала ее как роман, захлеб, запоем». «Вы своей книгой так обострили мой слух». «Меня поразили эрудиция автора “Слова”, тончайшее чувство всех тайн великого русского языка...»

Нора Галь собирала материал для книги лет двадцать. Впервые «Слово живое и мертвое» опубликовано в 1972 году. Но работа не прекращалась. Второе издание (1975 г.) дополнено новыми примерами. Третье (1979 г.) – главкой «Веревка – вервие простое».

При подготовке четвертого издания (1987 г.) Нора Галь проделала огромную работу: просмотрела с английским оригиналом наиболее характерные переводы своих наставников-кашкинцев и создала раздел «Поклон мастерам», главки-портреты нескольких блестящих переводчиков, благодаря которым мы ощутили на русском языке неповторимый лаконизм Хемингуэя и прелесть «Маугли», своеобразие Голсуорси и Фицджеральда. Пятое издание (2001 г.) вышло уже без Норы Галь. Но и оно по традиции обогащено. Словно продолжая раздел «Поклон мастерам», Ю. Яхнина дает высококвалифицированный анализ творчества самой Н. Галь в статье «Три Камю». Статья Р. Облонской рисует человеческий облик замечательной переводчицы.

В шестое издание (2003 г.) целиком вошел раритетный (тираж всего 200 экземпляров!) сборник 1997 года, посвященный памяти переводчицы. А это – и две ее собственные мемуарные статьи, и воспоминания друзей и близких, и стихи – от детских до неожиданно выплеснувшихся уже в последние годы жизни, и самые интересные места из обширной переписки Норы Галь, и вновь выверенная библиография...

Седьмое издание (2007 г.) тоже дополнено: автографы

коллег, писателей, поэтов на книгах, подаренных Норе Галь, по-своему дорисовывают ее облик.

Тираж ранних изданий «Слова...» – 10 000, 33 000: уже немало, особенно по нынешним меркам. Но подлинно массовый отклик принесло книге удивительное событие. Первое издание попало в руки главному редактору журнала «Наука и жизнь» Виктору Николаевичу Болховитинову.

Молодежь сейчас не представляет, а люди постарше помнят, какой популярностью пользовался журнал в 1960–1970-е годы. Он был в каждом интеллигентном доме. Им увлекались и «физики», и «лирики». И этот-то всенародно любимый журнал в четырех номерах отвел свои страницы для книги Норы Галь! Рецензия, главки из книги.

Много лет спустя я случайно узнала: когда В. Н. Болховитинова кто-то спросил (может быть, сама Нора Галь), как же он печатает куски из уже опубликованной книги, он ответил: «Что мне ваши несчастные десять тысяч, когда у меня тираж – три миллиона!»

И на эти четыре публикации посыпались дождем читательские отклики.

Писали читатели. Врачи. Программисты. Геологи... Всех задело за живое. Люди горячо поддерживали автора, присылали охапки своих примеров, подтверждающих его мысли. Все разделяли боль автора за то, что творят с русским языком не только бездарные, нерадивые переводчики, но нередко и прочие литераторы, журналисты, а пуще того – радио,

телевидение, газеты...

Конечно, все письма пересылали автору. И Нора Галь, при всей своей безмерной загруженности очередным переводом, непременно отвечала на все письма. Сколько их скопилось в ее архиве – в папках, в конвертах, в коробках... Нора Галь не уставала удивляться их неожиданности и разнообразию. Молодой врач из Киева берет на вооружение ее советы для своих популярных медицинских статей. Программист из Одессы советуется, как овладеть искусством перевода, присылает свои пробы. Пожилой врач из Питера обретает в книге Норы Галь поддержку в своих частых спорах с редакторами, зараженными «канцеляритом». Даже математик находит в книге «соблазнительную строчку», которая может служить эпиграфом к его работе. Малая толика этой переписки – в настоящем издании.

Кто же такая Нора Галь?

Для внимательного читателя имя ее связано прежде всего с замечательным французским писателем Антуаном де Сент-Экзюпери. Благодаря ей заговорил по-русски «Маленький принц». Прекрасный наш актер Евгений Леонов в своих «Письмах сыну» назвал Нору Галь «мамой Маленького принца». С легкой руки Леонова одна из статей о Норе Галь так и называлась – «У Маленького принца в Москве жила мама».

Нора Галь проработала в литературе более полувека. Родилась она в 1912 году. Первые ее стихи напечатаны в 13 лет

(в 1925 г.), первая проза – в 23 года – «Повесть о друзьях» (в 1935-м).

Окончив в 1937 году МГПИ и в 1941-м, в канун войны, – аспирантуру, Нора Галь активно сотрудничает как критик и литературовед в журнале «Интернациональная литература». С 1936 года ее статьи о новинках французской литературы регулярно публикуются в этом журнале, в «Литературном обозрении», «Литературном критике» и др.

В 1942 году Нора Галь впервые попробовала свои силы в переводе, а с 1948 года окончательно уходит в перевод.

В первые послевоенные годы с работой было трудно. Пришлось начинать с нелюбимого Драйзера – «Американская трагедия» и «Дженни Герхардт», переводы вдвоем с напарником, как она выражалась, «в упряжке». Потом – классика: «Одержимый» Диккенса, «Смок и Малыш» Джека Лондона, «Пища богов» Уэллса, «Позолоченный век» Твена (опять «в упряжке»), рассказы Брет Гарта, Эдгара По...

В 1959 году Нора Галь перевела «Маленького принца», и это изменило ее судьбу. Она стала признанным мастером и уже могла выбирать работу по душе. А предпочитала она тонкую психологическую прозу XX века. Среди любимых ее переводов – «Смерть героя» Р. Олдингтона, «Посторонний» А. Камю, «Корабль дураков» К. Э. Портер, «Сад радостей земных» Дж. Оутс, мировой бестселлер «Поющие в терновнике» К. Маккалоу, «Домой возврата нет» Т. Вулфа и «Убить пересмешника» Харпер Ли – книга, необходимая в

каждом доме, где есть ребенок, подросток (последние две – совместно со своей ученицей и другом Р. Облонской), рассказы У. С. Моэма, Дж. Сэлинджера... В ее переводе заново зазвучали блистательные пьесы Пристли «Опасный поворот» и «Время и семья Конвей»...

Очень дороги были ей работы, на ее взгляд, несправедливо обойденные вниманием издателей (и тем самым – читателей). Это прежде всего «Несчастный случай» Д. Мастерса – роман о гибели американского физика от атомного облучения. Быть может, если бы эта книга была вовремя издана большим тиражом и ее прочли все физики, от студентов до академиков, – не было бы Чернобыля. Два романа Невилы Шюта, автора, почти неизвестного у нас. А ведь по его роману был поставлен всемирно известный фильм Стенли Крамера «На последнем берегу». Два его романа – первый перевод Норы Галь (1942 г.) «Крысолов», ждавший публикации сорок лет, и последний перевод «На берегу» – вышли в конце 1991 года. Она уже не дождалась выхода этой книги, не успела взять ее в руки. А тот же Евгений Леонов признавался в «Письмах сыну», что плакал над «Крысоловом»: «Я бы с радостью сыграл роль старика. Впрочем, такую роль каждый захотел бы сыграть».

В творческом наследии Норы Галь рядом с ее «экзюперией» стоит ее «брэдбериана». Нора Галь горячо, по-молодому увлекалась фантастикой. Перевела два романа: «Конец детства» А. Кларка, очень актуальный в наш век увлечения

экстрасенсами, и «Всякая плоть – трава» К. Саймака. Она перевела около трех десятков рассказов самого любимого своего фантаста – Рэя Брэдбери и около трех десятков – других фантастов, от Азимова до Шекли. Эти рассказы, разбросанные по разным журналам и сборникам, в последние годы удалось соединить в авторских сборниках «Планета НОРАГАЛЬ», «Голоса Пространства: Избранная зарубежная фантастика в переводах Норы Галь», а также в двухтомнике издательства «Мир» «Звезда по имени Галь», включающем все фантастические рассказы в ее переводе.

Своим названием два сборника обязаны удивительному событию. Летом 1995 года именем переводчицы названа малая планета – планета НОРАГАЛЬ. Теперь где-то в космосе она вращается по соседству с планеткой любимого ею Маленького принца. Такой фантастический подарок судьбы за жизнь, отданную литературе!

Полвека работы в литературе дали Норе Галь право написать книгу о своем опыте.

Всю жизнь к каждому слову она относилась придиричливо и трепетно. Тот же «Маленький принц» переиздавался 40 лет, и к каждому переизданию Нора Галь снова и снова шлифовала текст. Так же тщательно, кропотливо, неутомимо совершенствовала тексты, которые ей приходилось редактировать. Дважды вела семинар молодых: в конце 50-х, когда добыла для своих учениц на перевод рассказы Драйзера, и в конце 70-х, уже вместе с Р. Облонской.

Да и просто обычные книги она нередко читала с карандашом в руках, отмечая особо выдающиеся «ляпы», собирала газетные вырезки. Работа самой Норы Галь при ее жизни лишь один раз удостоилась серьезного профессионального анализа. Статья Ю. Яхниной «Три Камю» – сравнение трех переводов «Постороннего» – была напечатана в сборнике «Мастерство перевода» в 1971 году. Давно забытая, она перепечатана в 1997 году в сборнике «Нора Галь. Воспоминания. Статьи. Стихи. Письма. Библиография». Несмотря на крохотный тираж, книжечка не прошла незамеченной: отклики Льва Разгона в «Литературной газете», Кира Булычева в «Независимой газете», Лазаря Шерешевского в «Знамени», Андрея Углицких в «Новом мире». А спустя два года, в самом конце 1999-го, неожиданно рецензия на эту книжечку появилась в «Новом литературном обозрении».

«Это сегодня стало очевидно, что переводные романы 1960—1980-х годов и есть лучшая отечественная проза, – пишет критик. – Намеренно сдержанный стиль предисловия (автор – внук Норы Галь) лишь в малой степени отражает эмоциональный ключ книги, ту высокую ноту, что задана темой разговора, разговора о переводе как о культурной миссии и о замечательной переводчице, одной из последних среди мастеров старой школы...»

Прочитывая чудовищный «ляп» из современного «коммерческого» перевода, автор рецензии заключает ее смелым пассажем:

«...предлагаю издать сборник “Нора Галь” массовым тиражом: для обязательного распространения среди издателей и переводчиков. Некоторые страницы желательно выучить наизусть (статью Яхниной – целиком), после чего соискателям можно выдавать лицензию на отстрел (перевод) одной-двух книг иностранных авторов».

Разве нельзя сказать того же о книге самой Норы Галь?

В четвертом издании, подводя итоги за 15 лет, прошедшие после выхода первого издания, Нора Галь писала: «У автора за это время накопилось вдоволь новинок – печальное свидетельство того, что все до единой болезни языка, о которых говорилось в книжке, отнюдь не сходят на нет... Особенно щедро, увы, пополняют жизнь главы о том, как назойливо захлестывает нас поток иностранных слов». «Не успеешь... отбиться от чего-то одного, хватить – надвигается новый вал», – отмечала Нора Галь.

Идут годы, но книга не стареет. Увы, и сейчас, готовя новое издание, приходится повторить: все болезни языка умножились десятикратно. Вот наугад включаю радио, да не какое-нибудь – Христианское, – и что же оно обрушивает на слушателя? «Эксклюзивные последствия Христа в России», «тусовка с участием патриарха», «МП – структура, паразитирующая на РПЦ». И еще: «много соблазнительных фактов об обмане с квартирой», «нельзя эти требования удовлетворить в силу их очевидного ущерба»... Что ж такое? Не знаю, чего не поделили по существу между собой МП и РПЦ

(Нора Галь выступала и против мании сокращений, но в голову не приходило, что эта волна докатится и до Московской патриархии и Русской православной церкви!). Но каков язык! Тут все беды, с которыми воевала в своей книжке Нора Галь: и чудовищный канцелярит, и засилье иностранных слов, и дикая несочетаемость слов, и полная душевная глухота. Точь-в-точь из раздела книги «Как кошка с собакой»: «Слова прямо-таки шипят друг на друга». Тусовка и патриарх! «Служба по погибшим воинам» названа *мероприятием*. И все это буквально случайно поймано за пять минут. Право же, как пишет Нора Галь, «хочется кричать “караул”»!

Мы же просто теряем язык!

И кто-то же должен стоять на страже, защищать его.

Да, пишет Нора Галь, «есть рыцари, которые не щадя сил сражаются за честь Слова». И называет уважительно и благодарно Корнея Ивановича Чуковского, говорит и о том, как охраняют чистоту родного языка во Франции и в маленькой Исландии...

По справедливости, это звание «рыцарь Слова» в полной мере можно отнести и к самой Норе Галь. Правда, кто-то из читателей первого издания назвал этого рыцаря Дон Кихотом, одиночкой в борьбе с неодолимыми великанами. «Да, канцелярит не сдастся, он наступает...» – признается Нора Галь. Но ее девиз – «сдаваться без боя стыдно».

И в своей книге она неутомимо атакует со всех сторон «слово мертвое» – казенное, бездушное. Засыпая над скуч-

ной книгой, мы порой не можем понять, чем именно она отталкивает. Нора Галь наглядно показывает, какие именно пороки делают словесную ткань «серой дерюгой». Правда, иные примеры, которые в первых изданиях резали глаз, казались вопиющими, сейчас уже так примелькались, «вошли» в язык, что не каждый читатель сразу поймет, чем же возмущается автор. Но, к счастью, Нора Галь дает рядом свой вариант: как перевести унылую канцелярщину на свободный «многоцветный» язык. И как же сверкает в этой книге всеми гранями «слово живое»! Фраза словно омылась живой водой. Какой подарок читателю, какое наслаждение для глаза и слуха следить за этим чудом преображения! Следить, как мастер достает из необъятных кладовых языка тускнеющие без употребления жемчужинки, как черпает золотой запас из копилки опыта.

Ведь читая хорошую прозу, хотя бы «Маленького принца», разошедшегося на пословицы, мы не всегда понимаем, как создается, чем достигнута эта прозрачность, легкость, звонкость стиля. И тут мастер приоткрывает нам секреты. Немного – свои: как, к примеру, создавалась по-русски поэзия «Маленького принца». Нора Галь была человеком потрясающей скромности. Стоило большого труда уговорить ее рассказать о каких-то находках и удачах из собственного опыта, написать несколько страничек о работе над «Маленьким принцем». Больше говорит она об опыте своих учителей.

И сегодня книжка востребована, спрос на нее выплеснулся за пределы нашей страны. Шведский университет просит прислать книжку, и шведский филолог ссылается на нее в своих трудах. Бывший наш соотечественник из Израиля пишет: «После прочтения книги Н. Галь считаю ее своим учителем». Московская переводчица рассказывает: ее друг открыл свое маленькое издательство, недоволен качеством переводов – взял у нее «Слово живое и мертвое» и раздает своим переводчикам в ксерокопиях! А вот – отклик из-за океана, от Валерия Берестецкого – того самого программиста из Одессы, что учился у Норы Галь переводу. Теперь он в Канаде, через Интернет нашел книжечку о Норе Галь и отозвался взволнованным письмом. Вспоминает прежде всего «Слово живое и мертвое»:

«Книжка со мной уже двадцать лет, все эти годы я пользуюсь ею как справочником и всякий раз, открывая ее, нахожу что-то еще, полезное и нужное именно сейчас... Я ведь и раньше пытался понять, что же это за труд такой, когда надо за сценой перевоплощаться в героев книги, которую пытаешься перевести, заставляя их говорить на русском, да еще так, чтобы читатель поверил... И вот я очутился в мастерской Автора, и мне терпеливо объясняют тонкости ремесла... и в каждой строчке “Слова” сквозят доброта, знание и терпение.

Книжка работает. Уже в эмиграции, вырванные из привычной и родной языковой среды, мы вчитываемся в “Сло-

во”, и книга помогает сохранить чистоту языка в непростой обстановке. Восемь лет я живу в Канаде, и только здесь я понял: книжка помогает учить детей живому языку, в ней собраны бесценные примеры, такие нужны именно здесь, вне русского языкового окружения. К сожалению, мутный поток низкосортной продукции, переведенной неумелыми ремесленниками и издаваемой громадными тиражами, захлестывает книжные прилавки. Все реже и реже на них можно найти прекрасно воссозданные мастерами по-русски книги Хемингуэя, Брэдбери, Саймака, Ли... На чем же тогда учить и воспитывать детей? Тут-то и приходит на помощь “Слово” – книжка учит понимать, чувствовать и защищать родной язык от вторжения невежества и бескультурия».

Быть может, символично, что именно Интернет – самое совершенное достижение современности – принес и такие слова о труде Норы Галь: «Во-первых, это искусство понимания, предполагающее и готовность, и, главное, умение воспринимать, более того, уважать иной, отличный от собственного способ чувствовать и мыслить.

Во-вторых, это уровень культуры и нравственного самосознания, позволяющий вести на равных диалог и с Сент-Экзюпери, и с Камю, и со многими другими классиками мировой литературы XX века.

В-третьих, это искусство слова, превосходящее тот уровень, который годится для «обычной» хорошей прозы: тут ведь особая гибкость нужна, чтобы уметь выразить тончай-

шие нюансы чужого мировосприятия.

Слово в обиходе Неры Галь никогда не было просто обозначением предмета, действия или состояния – оно было атомом души; в микромире слова для нее содержались все оттенки мироотношения (включая нравственное самосознание), характера, судьбы».

Вероятно, тут не будет натянутой аналогия с известными стихами Анны Андреевны Ахматовой: «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»... А это уж подлинно – забота всех нас.

Эдварда Кузьмина

Для ясности

Автор этой книжки не лингвист и отнюдь не теоретик. Но когда десятки лет работаешь там, где главный материал и инструмент – *СЛОВО*, накапливается кое-какой опыт.

Автору приходилось много учиться, а подчас и учить. Приходилось иногда писать, довольно много переводить, немало редактировать. В качестве переводчика случалось спорить с редакторами, а в качестве редактора – с переводчиками и вообще с людьми пишущими. Порой приходилось яростно доказывать иные спорные и даже бесспорные истины, устно и на бумаге повторять их снова и снова, без конца, самым разным людям, чаще всего молодым. В таких случаях автор вовсе не стремился развивать теоретические положения, а старался показать и доказать на деле: вот так лучше, а эдак хуже, так верно, а эдак неверно.

Так сложилась книжка. В ней не без умысла дано много разных примеров. Если угодно, это отчасти даже справочник, наглядное (но, конечно, отнюдь не всеобъемлющее!) пособие.

Допустим, я говорю: в любой статье, заметке, даже в учебном труде, стократ – в художественной прозе почти всякое иностранное слово можно, нужно и полезно заменить русским, а отглагольное существительное – глаголом. Кое-кто возражает: это, мол, не нужно и ничуть не лучше. Или: это

очень трудно, подчас невозможно. Что ж, вот перед вами на каждый случай примеры из практики. Смотрите, сравнивайте и судите сами.

Это – об истинах азбучных. А сверх того, в работе со словом, как и во всяком другом труде, есть и кое-какие тонкости, своего рода приемы – в меру опыта и умения стараюсь кое-что рассказать и о них.

О том, как огромна роль слова, роль языка в жизни человека и человечества, говорится не первый день и не первый век. Об этом говорили и писали величайшие мыслители, ученые, поэты. С этим как будто никто и не спорит. И все же на практике всем нам, кто работает со словом, ежечасно приходится чистоту его отстаивать и охранять.

Каждого ученика, подмастерья, стоящего на пороге любой профессии, где работать надо со словом, хорошо бы встречать примерно так:

– Помни, слово требует обращения осторожного. Слово может стать живой водой, но может и обернуться сухим палым листом, пустой гремучей жестянкой, а то и ужалить гадюкой. И слово может стать чудом. А творить чудеса – счастье. Но ни впопыхах, ни холодными руками чуда не сотворишь и Синюю птицу не ухватишь. Желаем тебе счастья!

Скажут: для чудотворства ко всему нужен талант. Еще бы! Чем больше талантов, тем лучше. Но надо ли доказывать, что, и не обладая редкостным, выдающимся даром, можно хорошо, добросовестно, с полной отдачей делать свое дело?

А для этого нужно прежде всего, превыше всего – знать, любить, беречь и никому не давать в обиду родной наш язык, чудесное русское слово.

Это – забота каждого настоящего литератора и каждого истинного редактора.

* * *

Снова выходит книжка. И каждое издание приносит новые письма от читателей. О чем-то люди со мной спорят, что-то советуют. Но в главном согласны все. Люди самые разные – вчерашняя школьница и заслуженный профессор-медик, геолог, инженер-строитель, пенсионер и горняк – разделяют тревогу, которой продиктована эта книжка: что же творится с нашим родным языком? Как защитить и сохранить наше слово?

Почти в каждом письме – выписки и даже вырезки: новые образчики словесного варварства. Да и у автора за это время накопилось вдоволь новинок – печальное свидетельство того, что все до единой болезни языка, о которых говорилось в книжке, отнюдь не сходят на нет. Штампы забивают живое, хорошее слово (об этом – главки «Откуда что берется?», «Словесная алгебра»), а глагол вытесняют полчища отглагольных существительных («Жечь или сушить?»). Пишущие без конца сталкивают друг с другом слова, не сочетаемые по смыслу, стилю, фонетике («На ножах»), по национальной и

социальной окраске («Мистер с аршином»), по чувству и настроению («Когда гложет душа»), калечат исконно русские народные речения и обороты («Свинки замяукали»).

Особенно щедро, увы, пополняет жизнь главки о том, как назойливо захлестывает нас поток иностранных слов («А если без них?», «Куда же идет язык?»), о том, как отвыкают люди обращаться со словами образными, редкими («Мертвый хватает живого»), об ошибках, вызванных недостатком культуры («Предки Адама»).

И практика и письма читателей показывают: штампы и канцеляризм становятся чуть ли не нормой. Тем важнее с ними воевать – каждому на своем месте.

Некоторые читатели говорили и писали мне, что они пользуются этой книжкой в повседневной работе: редакторы – при правке рукописей, преподаватели – на лекциях и семинарах. Значит, книжка работает. Это – самая большая награда автору.

Сердечное спасибо всем, кто мне писал. И если кому-нибудь из них попадется на глаза это новое издание и он узнает здесь свою лепту, прошу принять за нее мою искреннюю благодарность.

Берегись канцелярита!

Откуда что берется?

Молодой отец строго выговаривает четырехлетней дочке за то, что она выбежала во двор без спросу и едва не попала под машину.

– Пожалуйста, – вполне серьезно говорит он крохе, – можешь гулять, но *поставь в известность* меня или маму.

Сие – не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком подслушанный разговор.

Или еще: бегут двое мальчишек лет по десяти-двенадцати, спешат в кино. На бегу один спрашивает:

– А билеты я тебе *вручил*?

И другой, пыхтя, отвечает:

– Вручил, вручил.

Это – в неофициальной, так сказать, обстановке и по неофициальному поводу. Что же удивляться, если какой-нибудь ребяенок расскажет дома родителям или тем более доложит в классе:

– Мы ведем борьбу за повышение успеваемости...

Бедняга, что называется, с молодых ногтей приучен к канцелярским оборотам и уже не умеет сказать просто:

– Мы стараемся хорошо учиться...

Одна школьница, выступая в радиопередаче для ребят, трижды кряду повторила:

– Мы провели большую работу.

Ей даже в голову не пришло, что можно сказать:

– Мы хорошо поработали!

Не кто-нибудь, а учительница говорит в передаче «Взрослым о детях»:

– *В течение* нескольких лет мы *проявляем заботу* об этом мальчике.

И добрым, истинно «бабушкиным» голосом произносит по радио старушка-пенсионерка:

– Большую помощь мы оказываем детской площадке...

Тоже, видно, привыкла к казенным словам. Или, может быть, ей невдомек, что для выступления по радио эта казенщина не обязательна. Хотя в быту, надо надеяться, бабушка еще не разучилась говорить попросту:

– Мы *помогаем*...

Можно, конечно, заподозрить, что тут не без вины и редактор радиовещания. Но ведь и редактор уже где-то обучен такому языку, а вернее сказать, им заражен.

Впрочем, случается и в быту... На рынке немолодая чета соображает, купить ли огурцы. Милая старушка говорит мужу:

– Я ведь почему спрашиваю, ты же сам вчера *ставил вопрос о солке огурцов*...

Детишкам показывают по телевидению говорящего попу-

гая. Ему надо бы поздороваться со зрителями, а он вдруг «выдает»:

– Жрать хочешь?

– Что ты, Петя! Так не говорят.

А попугай опять свое...

Попугай – он и есть попугай: что слышал, то и повторяет. Ну а мы, люди? Мы сетуем: молодежь говорит неправильно, растет не очень грамотной, язык наш портится, становится бедным, канцелярским, засоренным. Но ведь ученики повторяют то, что слышат от учителей, читатели – то, чем изо дня в день питают их литераторы и издатели.

На кого же нам пенять?

Отлично придумано – по радио учить ребят правильной речи. Мол, неверно сказать: «На субботник пойдут *где-то* триста человек». Не стоит «заменять точное слово *приблизительно* неправильным *где-то*». Справедливо. Хотя еще лучше, думается, было бы не *точное* слово, а *верное* (уж очень плохо сочетается «точное» с «приблизительно»). И лучше и верней было бы, пожалуй, не длинное «приблизительно», а короткое «примерно». Но это уже мелочи. А беда в том, что следом диктор произнес ни много ни мало: «Такие замены не способствуют пониманию вас вашими собеседниками»!!!

Дали хороший, добрый совет, исправили одну ошибку – и тут же совершили другую, много хуже, подали пример чудовищного уродования речи. Ибо и сами эти тяжеловесные слова, и неестественный, невразумительный строй фразы –

все это казенщина и уродство.

Где же, где он был, редактор передачи? Почему не поправил хотя бы уж так: Такие замены *не помогают собеседникам вас понять?*

Неужто не легче и не лучше? А тем более – когда тебя слушают миллионы ребят, которых ты хочешь научить говорить правильно!

Считается несолидным в газетной статье или очерке написать, к примеру: «*Мы решили больше не пытаться...*»

Нет, непременно напишут: «Мы приняли решение прекратить попытки...»

Или о работе экипажа космической станции: «*Проводился забор (!) проб выдыхаемого воздуха*». Этот *забор* не залетел бы в космос, если бы не стеснялись сказать попросту: космонавты *брали пробы*. Но нет, несолидно!

И вот громоздятся друг на друга существительные в косвенных падежах, да все больше отглагольные:

«Процесс развития движения за укрепление сотрудничества».

«Повышение уровня компетенции приводит к неустойчивости».

«Столь же типовым явлением является мотив мнимой матери».

«...блуждание в... четвертом измерении... окончательное поражение, когда подвергаешь сомнению свое... существование»!

«...С полным ошеломления удивлением участвовал он мгновение назад в том, что произошло...» Это не придумано! Это напечатано тиражом 300 тысяч экземпляров.

Слышишь, видишь, читаешь такое – и хочется снова и снова бить в набат, взывать, умолять, уговаривать:

Берегись канцелярита!!!

Это – самая распространенная, самая злокачественная болезнь нашей речи. Много лет назад один из самых образованных и разносторонних людей нашего века, редкостный знаток русского языка и чудодей слова Корней Иванович Чуковский заклеил ее точным, убийственным названием. Статья его так и называлась «Канцелярит», и прозвучала она поистине как SOS. Не решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в пустыне: к счастью, есть рыцари, которые, не щадя сил, сражаются за честь Слова. Но, увы, надо смотреть правде в глаза: канцелярит не сдается, он наступает, ширится. Это окаянный и зловредный недуг нашей речи. Сущий рак: разрастаются чужеродные, губительные клетки – постылые штампы, которые не несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а лишь забивают и угнетают живое, полезное ядро.

И уже не пишут просто: «Рабочие *повышают* производительность труда», а непременно: «*принимают активное участие в борьбе за повышение* производительности труда»...

Давно утвердился штамп: ведут борьбу за повышение (забудьте, не борются, а именно ведут борьбу!). Но вот мета-

стазы канцелярита поползли дальше: участвуют в борьбе за повышение – и еще дальше: принимают активное участие в борьбе за повышение...

Таким примерам нет числа. Слишком много пустых, бессодержательных, мертвых слов. А от них становится неподвижной фраза: тяжеловесная, застойная, она прямо противоположна действию, о котором говорит, чужда борьбе, движению, содержательности, экономности. Суть ее можно выразить вдвое, втрое короче – и выйдет живей и выразительней.

Вот тут бы и вмешаться редактору, выбросить все лишнее... Нет, куда там, вдруг выйдет «несолидно»!

А чем больше длинных, казенных слов, косвенных падежей, придаточных предложений, тем, видите ли, солиднее... И уже не разберешь, что с чем связано и что для чего нужно. Да и не нужно тут больше половины! Пять длинных слов да два коротких – там, где хватило бы *одного* слова, причем – что очень важно – *одного глагола!*

Сколько бумаги понапрасну занимают лишние, мертвые слова. А сколько драгоценных радиоминут уходит на них впустую!

Нет, слова-канцеляризмы, слова-штампы не безвредны. Пустые, пустопорожние, они ничему не учат, ничего не сообщают и уж конечно никого не способны взволновать, взять за душу. Это словесный мусор, шелуха. И читатель, слушатель перестает воспринимать шелуху, а заодно упускает и важное,

он уже не в силах докопаться до зерна, до сути. Вывеска на московской улице «*Швейно-пошивочная (?) мастерская*» – на совести того, кто ее заказал, и видят ее все же немногие. Но по московской радиосети изо дня в день объявляют, что такие-то ателье обслуживают «*население, проживающее*» в таких-то районах, – это уже чудовищно. Видно, невдомек «авторам», что население – это и есть те, *кто проживает*, то есть *население района*, а лучше бы просто – *жители района*.

Читают газеты, слушают радио – миллионы. Они верят: раз уж так пишет газета и вещает радио, стало быть, так можно, так правильно.

Радио сообщает: «В Ульяновске *продолжает работу* международная *встреча*, посвященная...»

Чуть позже сообщили правильно: «В Ульяновске *закончилась встреча*...» А в следующем же выпуске снова: «... *закончила свою работу встреча*...»

А через годик попробует иной редактор запротестовать, вычеркнуть откуда-нибудь это самое «*встреча продолжает работу*», и ему возразят:

– Но ведь это вошло в язык!

Немало таких словесных уродцев уже «вошло», непоправимо «вошло» – не выгонишь! Миллионы доверчивых читателей, зрителей, слушателей назавтра подхватывают канцелярский да в придачу безграмотный оборот. И вот пошло все шире, и привилось в обиходе, и уже не поспоришь, и мало кто помнит, что это неверно. Поистине, не из гущи народной

пошло, не народом-языкотворцем создано, а ввели, насадили не шибко грамотные газетчики или редакторы. В лучшем случае – нечаянно насадили, повторили и внедрили чью-то оговорку.

Люди всех возрастов и профессий, ораторы и педагоги, авторы и переводчики не только научных трудов, но – увы! – и очерков, романов, подчас даже детских книжек словно оглохли и ослепли. И вот уже не только неопытные новички, не только безграмотные, случайные полулитераторы или откровенные халтурщики, но подчас и литераторы опытные, одаренные, даже признанные корифеи пишут – и притом в переводе художественном: «В течение бесконечно долгих недель (героя романа) мучили мысли, порожденные состоянием разлуки»!

А не проще ли, не лучше ли хотя бы: Нескончаемо долгие недели (много долгих недель) его мучили мысли, рожденные разлукой (мучила тоска)?

Или: «Он находился в состоянии полного упадка сил». А разве нельзя: Он совсем ослабел, обессилел, лишился последних сил, силы оставили его, изменили ему?

А уж не корифеи...

«Он владел домом в одном из... предместий, где проживал с женой и детьми» – прямо справка из домоуправления, а не слова из романа!

«Да и кто принимает любовника в митенках? Ведь это создаст неудобства»!!! Совсем как табличка в подъезде: «Бе-

регите лифт, он создает удобства».

Из «художественного» перевода: «...совсем *особый характер* моря: *с этим последним происходили* какие-то быстрые перемены»; «...волос, зажатый между большим и указательным пальцами, *свисал без малейшей возможности уловить его колебание*»; «Порывы ветра *превосходили своей ужасностью* любую бурю, *виденную мною ранее*»; «*Обособленное облако, которое заслуживало внимания ...*»

Так и напечатали! И покорнейше прошу помнить: в этой книжке нет выдуманных примеров, все – подлинные.

Из радиопередачи, да не какой-нибудь, а под названием «Портрет поэта»: «Поистине счастливым поэт может *считать себя*, когда он чувствует *свою необходимость* людям». Отчего бы не сказать по-людски: Поистине счастлив поэт, когда чувствует, что нужен людям.

Или в очерке о Хемингуэе: «*он понимаем нами*, потому...» вместо *мы понимаем его*...

В живом хорошем очерке вдруг читаешь: «Горы должны делать человека сильней, добрей, душевней, талантливей... И они *совершают этот процесс*»!!! Судите сами – плакать или смеяться?

Из переводного романа:

«Он был во власти странного оцепенения, точно все это происходило во сне и вот-вот наступит пробуждение... Одолев столько кризисов, он словно утратил способность к эмоциям. Воспринимать что-то он еще мог, но реагировать на

воспринимаемое не было сил».

А ведь можно сказать хотя бы:

Странное чувство – будто все это не на самом деле, а на грани сна и яви. Он словно оцепенел, после пережитого не хватало сил волноваться. Он был теперь ко всему безучастен.

Уж наверно, никто не жаждет уподобиться знаменитому чеховскому телеграфисту, о котором памятно сказано: «Они хотят свою образованность показать, всегда говорят о непонятном». И однако многие, нимало не смущаясь, пишут: «Очарование (героини) *состоит в органичности ее контрастов*»! И это не перевод!

«...холод, как и голод, не служил для них *предметом* сколько-нибудь *серьезной заботы* – это был *один из неотъемлемых элементов их быта*».

Это не официальная информация и не ученая статья, а хоть и научно-фантастический, но все же роман. Речь идет о дикарях, о первобытных людях. И право, ни суть сказанного, ни научность, ни фантастичность, ни читательское восприятие не пострадали бы, если написать: ...холод, как и голод, *мало их заботил* – они издавна *к нему привыкли* (или, скажем: другой жизни они никогда и не знали).

Зачем писать: «...*авторитет мой возрос. Или если не авторитет, то, во всяком случае, внимание, с каким относились ко мне окружающие и которое слегка напоминало благоговейный страх здоровых людей, прислушивающихся к мнению явно недолговечного человека*».

Ни мысль, ни выразительность, право, ничего бы не утратили, скажи переводчик хотя бы:

Я сразу вырос в глазах окружающих. Во всяком случае, ко мне стали прислушиваться с каким-то суеверным почтением – так здоровые люди слушают того, о ком известно, что он не жилец на этом свете.

«Сейчас было непохоже, чтобы она стала иронизировать, сейчас она была слишком серьезна, да, именно так, ее *взгляд был серьезным*; то, что он принял за *пустоту*, было *отсутствием ее привычной веселости*, это и делало ее лицо таким незнакомым, таким чужим. Он же должен был сейчас открыться ей, ведь именно этого требовал ее взгляд, он должен был говорить, объяснять, но разве это возможно перед таким чужим лицом, не обнаруживающим никакой готовности к пониманию?»

Тяжело, невнятно, скучно... А ведь это о человеческих чувствах, о трудном переломе в отношениях людей! Не лучше ли было хоть немного прояснить фразу? Хотя бы:

Да, именно так, *она смотрела серьезно*, взгляд был не пустой, нет, но ему не хватало привычной веселости, оттого ее лицо и стало таким незнакомым... Надо сейчас открыться, этого и требует ее взгляд, надо говорить, объяснять... но как объяснить (или – но разве это возможно), когда *у нее такое чужое* (отчужденное), *замкнутое* лицо (или – когда по лицу ее сразу видно, что она вовсе не хочет услышать его и понять)...

Отрывки эти взяты из разных переводных романов, переводили их разные люди, с разных языков. Но дело не в переводе: сами подлинники вовсе не требуют такого сухого, канцелярского стиля и строя фразы. Дело в отношении к *русскому* языку, к *русской* речи. Подобного сколько угодно и у авторов, пишущих по-русски.

У нашего современного прозаика читаем: «Этот маленький, щуплый человечек сразу как-то преобразается, глаза становятся колючими, волосы *кажутся ставшими дыбом*».

У другого: «*Дочерчивание* линии происходит с *тщательностью* чертежника-ученика, высунувшего язык от старания».

Кто-то может, точно ученик, высунуть от усердия язык, но как представить *дочерчивание* с высунутым языком?

Ребенок поцеловал усталую мать – и «в лице (ее) появилось какое-то неуловимое *просветление*». Очевидно, лицо ее просветлело?

И даже у талантливого мастера герой оказывается «*в состоянии неудовлетворенного возмездия*», как будто мучается тем, что *не получил возмездия*! А ведь смысл – что его сжигает, терзает, мучит жажда мщения (мести)!

* * *

Так что же он такое, канцелярит? У него есть очень точные приметы, общие, и для переводной, и для отечественной

литературы.

Это – вытеснение глагола, то есть движения, действия, причастием, деепричастием, существительным (особенно отглагольным!), а значит – застойность, неподвижность. И из всех глагольных форм пристрастие к инфинитиву.

Это – нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинные цепи существительных в одном и том же падеже – родительном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь.

Это – обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить словами русскими.

Это – вытеснение активных оборотов пассивными, почти всегда более тяжелыми, громоздкими.

Это – тяжелый, путаный строй фразы, невразумительность. Несчетные придаточные предложения, вдвойне тяжеловесные и неестественные в разговорной речи.

Это – серость, однообразие, стертость, штамп. Убогий, скудный словарь: и автор и герои говорят одним и тем же сухим, казенным языком. Всегда, без всякой причины и нужды, предпочитают длинное слово – короткому, официальное или книжное – разговорному, сложное – простому, штамп – живому образу. Короче говоря, канцелярит – это мертвечина. Он проникает и в художественную литературу, и в быт, в устную речь. Даже в детскую. Из официальных материалов, из газет, от радио и телевидения канцелярский язык переходит в повседневную практику. Много лет так читали лекции,

так писали учебники и даже буквари. Вскормленные языковой лебедой и мякиной, учителя в свой черед питают той же сухомяткой черствых и мертвых словес все новые поколения ни в чем не повинных ребятишек.

Так нахально «входят в язык» все эти канцеляризмы и штампы, что от них трудно уберечься даже очень неподатливым людям, и тогда, как бы защищаясь, они выделяют эти слова иронической интонацией.

Вот горькие, но справедливые строки из письма одной молодой читательницы автору этой книжки: «Мы почти не произносим открытого текста, мы не строим больше нашу речь сами, а собираем ее из готовых стандартных деталей, но подчеркиваем “кавычками”, что делаем это сознательно, что понимаем все убожество нашего материала. Мы повторяем те же ненавистные штампы, выражая свое отношение к ним лишь негативно, ничего не создавая взамен».

Думается, это – голос того поколения, перед которым виноваты мы, старшие. Но и в этом поколении уже не все понимают, что утрачено. А что же достанется внукам?

Ох, как хочется в иные минуты кричать «караул»!

Люди добрые! Давайте будем аккуратны, бережны и осмотрительны! Поостережемся «вводить в язык» такое, что его портит и за что потом приходится краснеть!

Мы получили бесценное наследство, то, что создал народ за века, что создавали, шлифовали и оттачивали для нас Пушкин и Тургенев и еще многие лучшие таланты нашей

земли. За этот бесценный дар все мы в ответе. И не стыдно ли, когда есть у нас такой чудесный, такой богатый, выразительный, многоцветный язык, говорить и писать на канцелярите?!

Жечь или сушить?

Не всякий пишущий способен глаголом жечь сердца людей. Но, казалось бы, всякий писатель к этому стремится. А для этого *глагол* – то есть *слово* – должен быть жарким, живым.

Быть может, самое действенное, самое взволнованное слово в нашем языке – как раз глагол. Быть может, не случайно так называется самая живая часть нашей речи.

Громоздкими канцелярскими оборотами жечь сердца, затронуть душу довольно трудно. Обилие существительных, особенно отглагольных, тяжелит и сушит речь. Фраза со многими косвенными падежами неуклюжа и недоходлива. Причастия и деепричастия, слова вроде *вращающиеся*, *находившиеся*, *выращиваемые* тоже не делают прозу благозвучной, ясной и никого не взволнуют. Во всем этом нетрудно убедиться. К примеру, авария на корабле, люди на краю гибели – и вот как в двух вариантах рассказано о капитане:

Под влиянием длительного непрекращающегося напряжения он словно утратил способность к критическому суждению.

Я почему-то почувствовал сильное ощущение одиночества.

Эти тревожные дни дались ему нелегко, и он словно разучился критически мыслить (ясно понимать происходящее, трезво судить о том, что происходит).

Мне почему-то стало очень одиноко.

Заметьте, варианты, напечатанные справа, – вовсе не лучшие из всех возможных. И все же едва ли человек с нормальным зрением и слухом предпочтет им то, что вы видите слева. Однако в печать очень часто попадают именно варианты «левого» типа.

По мере приближения момента встречи с нею. Это не может не явиться плодотворным поводом для размышлений.

Чем меньше времени оставалось до встречи с нею.

Тут есть о чем задуматься.

Это – перевод книги современной, даже очень современной. А вот, не угодно ли, каким предстает в переводе писатель-классик:

«Способность к усыплению»; «Я попытался привести себя в бодрствующее состояние»; «Нет возможности составить догадку о нашем местоположении»; «Сброд, обладав-

ший огромным перевесом» (тут не сразу поймешь, что герои столкнулись с толпой и сила оказалась на стороне этого сброда).

Есть такая болезнь – водобоязнь. А многие литераторы, увы, страдают *глаголбоязнью*. И неизменно шарахаются от глагола, от живой воды языка, предпочитая всяческую сухомятку.

Журналист (да притом еще и поэт) пишет в газете: герой делает то-то и то-то, «заходя в иные *измерения* с целью *преодоления расстояния*». Как же ему, поэту, не резнули ухо эти скучные отглагольные окончания? И что это, как не глаголбоязнь?

Два автора в полной бурных событий повести пишут: «... можно было встретить любое *нападение*. Первое *погружение* (под воду) принесло *разочарование*, хотя вода была на *удивление* прозрачная».

Ну что это такое, в самом-то деле! Зачем такой нудный протокольный стиль, такой беспросветный канцелярит? А ведь из четырех отглагольных существительных двух легко избежать: Первое погружение нас *разочаровало*, хотя вода была *удивительно* (на редкость) прозрачная.

Что лучше, уместнее в современном романе или рассказе (а тем более очень современном, научно-фантастическом):

Выслушайте мое предложение.

Это не способствовало искоренению недуга.

Воспоминание было нежелательно.

Мы воздержались от заявления о дне старта.

В глазах (у пса!) было выражение такой беззащитной доверчивости.

Вот что (или послушайте, что) я предлагаю.

Не помогало искоренить (хотя бы так!).

Я не хотел вспоминать (или просто — не хотелось).

Мы не сообщали...

...смотрел так беспомощно, так доверчиво...

Рассказ одного из мастеров современной английской прозы:

«...в оклипании занятых такси есть что-то еще более унижительное, чем в заигрывании с девушками, идущими на свидание». Не лучше ли: окликать... такси почему-то еще унижительней, чем заигрывать с девушками, идущими на свидание? Избавьте фразу от лишних канцеляризмов – и она станет более свободной, гибкой, да и просто лучше прозвучит.

Десятки, сотни раз читаешь: испытывал чувство счастья, горечи, досады – там, где куда лучше сказать: радовался, горевал, досадовал, либо, на худой конец, – был огорчен, был счастлив.

Никакой жалости к ней он не испытывал.

Даже к собственной дочери он испытывал недоверие.

Он испытал сильное головокружение.

Он нисколько (ничуть) ее не жалел.

Даже собственной дочери он не доверял.

У него закружилась голова (а может быть, и подкосились ноги!).

Впал в *состояние прострации* – сказано там, где верней и выразительней просто: *оцепенел*.

Он *почувствовал страх* (ужас) – а лучше: *ему стало страшно* (или, смотря о ком и о чем речь, – он *испугался, трусил, струхнул*, его охватил, им овладел ужас).

В огромном, подавляющем большинстве случаев лучше заменить существительное (особенно отглагольное!) глаголом. Право же, от этого любой текст станет понятнее, живей, выразительней.

Мысль... произвела на меня
слишком ошеломляющее
впечатление.

Я был с ним отчасти
согласен, но удовольствие,
которое я испытывал,
штурмуя гору, сознание, что
нога человека никогда еще
здесь не ступала, а также
радость, доставляемая
мне созерцанием все
расширявшегося ...
пейзажа, — были для меня
достаточной наградой.

...слишком меня ошеломила

Он был, пожалуй, прав, но
мне (весело) радостно было
штурмовать гору, знать, что
до меня здесь еще не ступала
нога человека, я с восторгом
смотрел на великолепную
картину (любовался
картиной), которая все шире
раскрывалась передо мною,
и не нужно мне было другой
(лучшей) награды.

«...Мы остановились... чтобы выяснить... названия
мест, где были совершены нападения... на людей, и их (на-
падений или людей?!) точные даты...»

Это не протокол, это рассказ охотника о событиях драма-
тических, об охоте на тигра-людоеда. И надо было переве-
сти: чтобы выяснить точно, где и когда тигр *напал* на лю-
дей. Снова и снова говорится, что зверь *совершил нападение*,
а нельзя ли просто — *напал*?

«Викинг... начал преследование». Не лучше ли: пустился
преследовать врага, кинулся вслед, вдогонку.

«Черные лодки и одежды гребцов создавали впечатление
армады тьмы» — право, *впечатление* оказалось бы сильнее
без этого канцеляризма и двух родительных падежей. Стои-
ло перестроить всю фразу, к примеру: Лодки были черные,
и гребцы тоже в черном, — казалось, *надвигается армада*

тьмы.

«Теперь все сомнения относительно враждебных целей визита исчезли» – тут даже не сразу поймешь, что к чему. Приплыли-то не просто гости, а враги, но эту тяжелую, громоздкую фразу можно понять и в обратном смысле. А верней бы сказать: *Теперь уже не оставалось сомнений* (а лучше – *стало ясно*), *что приплыли они как враги.*

От пристрастия к существительным и нелюбви к глаголам получаются самые разные корявости и нелепости.

Диктор читает по радио: «Наш союз *положил конец* тому *положению*, когда...» Получилось «масло масляное». Избежать этого было проще простого – обойтись без лишнего существительного: *покончил* с тем положением... Пишут: «*Произведено (!) столько-то наградений*», а можно: *наградили* столько-то человек.

Драматический рассказ. Беглец ищет временного прибежища, где он «сможет спокойно все обдумать, переждать, пока не прекратят *его поиски*».

Читатель все-таки догадывается, что *его поиски* – это значит: ищут самого героя, а не он чего-то ищет... Но не лучше ли сказать ясно: пока его не перестанут разыскивать?

Современный рассказ, перевод с фламандского: «Женщина была слишком непривлекательной и истощенной. Ни один мужчина не соблазнится *такой неряхой, пропахшей нищетой*...» Совпали падежи – и опять не сразу поймешь, что к чему относится.

Иные авторы глаголом буквально брезгуют: слишком-де прост, несолиден. Заменяют его не только длинными цепями существительных в косвенных падежах, но и гирляндами причастий и деепричастий – так выходит официальнее и потому внушительнее, на взгляд литератора, который словечка в простоте не скажет.

В английской и французской речи причастия и деепричастия встречаются куда чаще и звучат куда разговорней, непринужденней, чем в речи русской. Еще в прошлом веке деепричастия хлынули к нам вместе с другими галлицизмами, не в диковинку было высмеянное Чеховым незабываемое: «Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа».

Живой, тем более *современной* русской речи деепричастия не очень свойственны, и причастными оборотами люди тоже говорят редко, разве что в официальных и торжественных случаях, обычно – читая по бумажке. Деепричастие у нас признак либо речи книжной, либо – на другом полюсе – речи не вполне литературной, областной: *я вставил, он не евши*.

В литературе причастиями и деепричастиями надо пользоваться с оглядкой. Два-три деепричастия в одной фразе, особенно в сочетании с причастиями, почти всегда тяжелы и неестественны, затрудняют восприятие.

«Он был абсолютно прав, спрашивая вас...» – да полно, говорят ли так живые люди? Не естественней ли: Он совершенно прав (он правильно сделал), что спросил вас...

«Мощные прожекторы *были направлены вверх, облегчая кораблю посадку*». А правильно было бы: ...*направились вверх, они облегчали*. Либо уж: *направленные вверх, облегчали*...

Страсть к деепричастиям нередко ведет к хрестоматийной классической ошибке.

«*Производя измерения, линейка* невольно задевала то одного, то другого» – это уже совсем по чеховской «Жалобной книге»! Производила измерения все же не сама линейка, *ею* задевал соседей *тот, кто* производил измерения!

И опять ошибка (притом у человека одаренного, культурного – настолько въелись в обиход и сбивают с толку неточные деепричастные обороты!):

«...*Глядя на нее... и слушая, как она болтает, вас охватывало* щемящее чувство жалости».

Зачастую даже оригинальный автор, тем более переводчик, загипнотизированный французским подлинником или каким-нибудь английским «ингом», путает последовательность времен и событий. Это ошибка обычная и притом коварная: не всякий редактор ее замечает. И вот вышла книжка, а в ней: «*Покинув... свой письменный стол, он отправился исследовать подвалы, не обнаружив там... ничего зловещего*».

Выходит, что герой сперва не обнаружил ничего там, куда потом отправился! При том, что одно деепричастие уже есть в начале фразы, правильной и грамотней было бы сказать: *отправился обследовать подвалы, но не обнаружил там...*

Или: «Я тащился домой, *скорчившись* за рулем, и *приехал* поздно, *застав* квартиру пустой». Тут не только плохи два разных деепричастия рядом, но и прямая ошибка со вторым: ведь *сперва* приехал, а *потом* уже (*приехав!*) застал.

Или: «Он куда-то *убежал*, *вернувшись* только к вечеру»! А естественно сказать, что человек убежал и вернулся только к вечеру. Иначе получается обратный смысл: вернулся только к вечеру – и *потом* *опять* куда-то убежал!

Русский язык и здесь дарит нам самый верный и надежный способ избежать тяжеловесности, нелепостей и прямых ошибок: все тот же глагол.

Героиня «*вошла и завизжала, выскочив* из комнаты». Попробуйте понять, завизжала она, когда *вошла* и увидела что-то страшное, а потом уже выскочила? Или с визгом выскочила? Как будто визжит уже тогда, когда выскочила, но психологически это меньше всего похоже на правду.

А между тем проверить себя несложно. Довольно подставить, как в алгебраической формуле, какие-то самые простые значения. К примеру: *проснувшись, я делаю зарядку*, но едва ли наоборот: *я просыпаюсь, делая зарядку!* И все же часто фразу строят именно так.

Едва ли стоит сводить *деепричастие с причастием*: «...дымок, *поднимавшийся* над жареной картошкой, *отражаясь* в зеркалах...»

Или: «...волокли человека без пиджака, *не переставая* что-то *вопившего*». Было бы правильно, если бы деепричастие относилось к сказуемому (*волокли, не переставая* делать что-то еще), а тут лучше, вероятно: *он* (ясно ведь, что не пиджак!) *не переставая* что-то *вопил*.

Такие столкновения далеко не всегда правильны, и чаще всего их воспринимаешь с трудом. Тем более незаконно для русского языка деепричастие, относящееся к существительному. Однако встречается и такое, да еще у серьезного критика, который в газетной статье поучает талантливого писателя: «...не может пройти бесследно эта бесконечная смена миров, *попадание* из одного в другой, *не успевая* заскочить в собственный...» Школьнику за это «попадание не успевая», пожалуй, вlepили бы двойку! А вся беда от того же: отглагольное существительное предпочли глаголу.

«И никто не увидит нас *вернувшимися* обратно» – а по смыслу и логике надо: очевидно, мы не вернемся (никто нас больше не увидит).

«Старик чувствовал себя *преданным*» – это уже не перевод, так написал большой, хороший писатель. Его подвел

пассивный оборот, было бы лучше – чувствовал, что *его предали*, ведь *преданный* сперва ощущается как *верный*! Нечаянность, обмолвка, с кем не бывает... А вот совсем другой почерк:

«...он видел себя (с близкой женщиной) вдвоем на... пляже *наслаждающимися* миром и покоем...»

Да разве не естественней хотя бы: он представлял себе, рисовал в воображении, он уже мысленно видел, *как они наслаждаются...*

«Он... почувствовал себя *преследуемым, совершающим* все свои поступки *под воздействием* какой-то роковой пружины».

И от этих корявостей и нелепостей снова мог бы спасти глагол. Хотя бы: Ему чудилось, будто *его преследуют*, будто он *действует* под нажимом, давлением пружины.

Из другого перевода. О дятлах на дереве: «...два сумасшедших рыжеволосых врача, простукивающих грудь пациента и восхищенно *хихикающих над обнаруживаемыми ими* симптомами болезней: червоточиной... пятнами гнили и полчищами личинок... *грызущих их* пациента». Весь строй и самое звучание этой фразы – свист, шипение, чихание – выдают совершенную глухоту переводчика. А ведь так легко перестроить: ...два рыжих врача *простукивают*... и *хихикают*, обнаруживая (находя) симптомы болезней: червоточину... пятна гнили и *полчища* личинок, что (или – которые) *грызут* их пациента. Все тот же спасительный глагол мгно-

венно преобразует фразу, она становится более четкой, чистой, динамичной.

Грустно, что до этого не додумался переводчик, этого не присоветовал вовремя редактор. Поменьше стало бы причастий, совпадающих косвенных падежей, шипящих согласных, зато побольше ясности. Было бы легче понять и представить себе тот образ, картинку, которую хотел нарисовать автор. А значит, и автор и читатель только выиграли бы. Но... напечатан, к сожалению, именно путаный, причастно-деепричастный вариант – *шипящий, свистящий, чихающий*, а главное, тяжелый и невнятный.

Словесная алгебра

«По сведениям, поступавшим из разных источников» – это не сообщение ТАСС, это говорит живой человек! Почему же не сказать живыми человеческими словами: Как я понял по рассказам, как рассказывали мне разные люди...

Справедливо писал когда-то с гневом и горечью Ефим Дорош:

«По местному радио передают объявления о работе агитпунктов. В конце каждого объявления одна и та же фраза: “После доклада – культобслуживание”. Концерт, надо полагать, или кино. Как-то незаметно в минувшие годы сложился этот холодный, мертвенный язык: “головной убор”, “городской транспорт”, “осадки”... Что это, боязнь конкретности, пускай не осознанная, боязнь подробностей? Тяготение к выхолощенным абстракциям? Любовь к выпренности? Или же стремление привести все к единой норме?»

Спору нет, изредка чисто канцелярские слова и обороты даже нужны – для портрета или речи сухаря-чиновника, для «жанровой сценки» в совершенно определенном духе. Но тем важнее, чтобы весь окружающий текст и речь других людей были совсем иными – живыми, естественными. Вот тогда ярче, отчетливей станет ироническая или осуждающая характеристика.

Взять, к примеру, острый, насмешливый памфлет «Закон

Паркинсона», напечатанный когда-то в журнале «Иностранная литература». Вот тут канцеляризм на месте! От них памфлет еще злей, смешней и беспощадней, это – сознательный прием. Но и «Закон Паркинсона» был бы скучен и одно-тонен, будь игра построена только на одних канцеляризмах.

Беда, если канцеляризм присущи самому переводчику, писателю. В огромном, подавляющем большинстве случаев лучше заменить официальное или книжное слово – разговорным, длинное – коротким, сложное – простым, стертое, безликое – конкретным, образным. Этому не так уж трудно научиться даже без постоянной подсказки редактора стороннего – с помощью внутреннего «саморедактора», воспитывая собственное ухо и глаз. И быстро убеждаешься: это вовсе не ведет к упрощению или старомодности, ничуть не бывало! Это лишь очистит и прояснит любую прозу. Напротив, казенные, необязательные слова, слова-штампы всякую фразу только засоряют и запутывают.

**Очень, очень редко
уместно официальное:**

следовательно

действительно

заблаговременно

направлялся

произошло, происшествие

лично, самолично

обнаружил

**Почти всегда можно и нужно
сказать просто:**

значит, стало быть

*в самом деле, впрямь, вправду,
по-настоящему*

заранее, вовремя, загодя

шел

случилось, случай

сам

увидел, заметил, нашел, открыл

**Очень, очень редко
уместно официальное:**

не выразил никакого
удивления

не стояла необходимость

на расстоянии ста миль

по мере удаления

не играет никакой роли

на протяжении
(по истечении) двух часов

в южном направлении

это вызвало у меня
раздражение

**Почти всегда можно и нужно
сказать просто:**

ничуть не удивился

незачем было

за сто миль

чем дальше

неважно

*за два часа, через два часа, два
часа спустя*

к югу, южнее

я злился, сердился, досадовал

Кстати, «раздражение» подчас отдает медициной (раздра-

жение и покраснение кожи!), почти всегда лучше – злость, гнев, досада.

Часто пишут так:

Все это послужило причиной ужасной неприятности.

У меня были кое-какие знания по археологии.

Посмотрел *перед* собою

Плохой я судья человеческих сил и способностей, если эта женщина не отберет у тебя твоего приятеля.

Это самое большое наслаждение в моей жизни — *посидеть* вот так в одиночестве, в темноте, окруженным батареями пишущих машинок.

Глядя на великолепное зрелище морского простора

Несмотря на полное отсутствие физического сходства, она чем-то напоминала ее.

Когда можно хотя бы так:

Из-за этого вышла (получилась) большая неприятность.

Я кое-что понимал, смыслил (немного разбирался) в археологии.

Посмотрел *вперед*

Либо я ничего не понимаю в людях, либо она отобьет у тебя...

Люблю посидеть вот так в одиночестве (или — один): тихо, вокруг ни души, только батареи пишущих машинок, для меня это самое большое наслаждение (или — первое удовольствие, или даже — что может быть лучше, приятнее).

Любуясь морским простором

Внешне (с виду) она была совсем не похожа на... и все же чем-то напоминала ее.

И в романе, особенно не современном, вместо «в соответствии со своим характером» лучше написать «в согласии...».

В переводном рассказе о балованной жене читаем: «К сожалению, *это* в каждом случае оказывалось сопряженным с очень большими расходами».

Тяжело, скучно, неуклюже – все тот же канцелярит! И еще своего рода *языковая алгебра*. Ведь словечко *это* – безличный алгебраический значок. Довольно подставить конкретное значение – и фраза оживет: На беду, всякий раз *ее прихоти обходились слишком дорого* (стоили огромных денег).

Словесные иксы и игреки, всякие *this, that, it*, несчетные *он* и *она* почти всегда, за редчайшими исключениями, лучше в переводе раскрывать, расшифровывать. Одно дело – писательский прием, своеобразная манера, допустим, Хемингуэя с постоянными «сказал он», «сказал я». Это отлично выразили по-русски наши мастера еще в 30–40-х годах. Но совсем другое дело – особенности чужого языка, чужого строя речи механически переносить в русский перевод, в русскую книгу.

В английском, во французском тексте обычны безликие *the man, the woman, cet homme, the person*. По законам языка артикль или местоимение обязательны, без них обойтись нельзя: по ним француз или англичанин тотчас понимает, о ком или о чем речь. Русскому существительному этот «по-

четный караул» вовсе не нужен. И потому в переводе куда лучше, естественней не повторять снова и снова *он* или буквально – *этот человек, эта женщина*, а подставить либо имя героя, либо то, что в нем главное (мальчик, солдат, старик, прохожий). И если в подлиннике *the creature* или *l'animal, la bete*, вместо *животного вообще* тоже надо бы подставить что-то определенное – собака, лошадь, кошка.

Чем конкретнее слово, тем лучше, образней, убедительней текст (все равно, оригинальный или переводной) и тем меньше нелепых сдвигов и ошибок.

По-английски можно, в сущности, о любой живой твари сказать *creature*. Но если зверолов, перечисляя всех, кого поймал, говорит: «животные, например *колибри*», это чуть смешно. Да, для науки и крохотные пичуги, и змеи – животные, но в рассказе все же лучше что-то другое, смотря по контексту (в данном случае – подопечные, пленники, пассажиры).

Незачем, к примеру, *the planet's early life* переводить «древние *представители органической жизни*». Это без всякого ущерба можно передать проще и короче: *первобытные твари* или *существа*, на худой конец – *организмы*. Ни к чему казенное «человек учился *использованию сил природы*» (отглагольное существительное, два родительных падежа кряду!). Лучше – учился *обуздывать, покорять* эти силы. Тем более что и в подлиннике не стандартное, бесцветное *use*, а более живое, образное *harness*.

Обычное английское *human being* в переводе лучше заменять естественным *человек*, и напрасно порой допускают уродливую кальку «человеческое существо»! Лишь очень редко, в произведениях старой классики, уместно какое-нибудь (может быть, даже прелестное) *создание*.

«Есть одна *особа* – она добра, чиста, преданна, она любила бы меня». Это перевод одного старого романа. В подлиннике даже не *person*, просто *one*. И куда вернее, естественней по-русски: Есть одна *чистая душа* – добрая, преданная...

«Седая, исхудавшая, беспомощная *фигура*» – сказано о старике, и хочется эту «фигуру» расшифровать, обратить некий *икс* в конкретный образ. Допустим, нельзя просто «старик» – рядом «состариться» (впрочем, можно заменить: одряхлеть, прожить свой век). Но в полном согласии со стилем автора можно найти иную замену, пусть даже «тень», только бы не переносить из чужого языка бесцветное, обобщенное *figure*.

Или: «*Фигура* женщины поместилась в карету» – право же, лучше бы сама эта женщина уселась в карету. Без словесной алгебры стало бы живее, зримее.

А сколько этих *фигур*, уже не навязанных иноязычным подлинником, наши авторы пускают разгуливать по страницам отечественной прозы!

Еще один распространенный алгебраический значок, обычный штамп и живучий паразит нашей речи – расхожее словечко *вещь*. «Я тебе скажу одну вещь» – а верней бы: *вот*

что я тебе скажу (если за этим следует что-то конкретное), либо, напротив: я тебе *кое-что* скажу. В перевод эти *вещи* попадают еще и по милости французского chose, английско-го thing. А куда как лучше получается без этой пустопорожней скорлупки.

«Странная *вещь*, до чего она меняется...» – так в хорошем переводе думает о женщине герой одного хорошего романа.

Не лучше ли: *Странно* (или – как *странно, вот странно*), до чего она меняется...

А в плохом переводе встретишь и такое: «Похороны на море *не входят в число радующих* зверолова *вещей*».

Или человек кричит со сна. «С ним и после бывали такие *вещи*». А почему не: *бывало такое, так бывало*.

Старик думает о смерти: «*Одна вещь* печалила его в предчувствии конца». А по-человечески было бы: *Только одно* его печалило.

Даже когда «*вещи*» употреблены в не столь отвлеченном и обобщенном смысле, они отнюдь не украшают художественную прозу и лучше обойтись без них.

Героиня одного романа, как уверяет переводчик, «*пела восторженные дифирамбы*» другой, которая «была так очаровательна и *так превосходно умела носить вещи*». А здесь по смыслу, по интонации верней бы: первая *восхищалась* второй, *превозносила* ее (хвалы эти произносятся не в лицо, а за глаза) – она... *так хорошо одевалась!*

Французское qualite, английское quality часто переводят

первым по словарю значением – *качество*, а оно гораздо чаще означает *достоинство*. Мать мечтает, чтобы сынишка «унаследовал *все качества* отца, *не будучи...*» – она не договорила, отец малыша погиб слишком недавно, она еще не смеет вслух заговорить о его *слабостях*, но видеть в сыне хочет явно не *все* отцовские *качества*, а именно *достоинства*.

«Я слыл человеком щедрым и действительно был таковым». А надо бы: так оно и было, и это была правда, и в самом деле скуп не был.

Или: «В этой сфере (герой) хочет быть единственным, и он им остается». А по-русски естественней: и ему это удастся (либо – и добивается своего).

– Непременно пойдی навести мать.

– Да, я это сделаю.

Опять ответ буквальный, дословный.

Англичанин не повторит один и тот же глагол дважды, а на второй раз заменит его универсальным *to do*. Но по-русски говорят: Да, я *пойду*, а лучше – *да, конечно (непременно)*. И однако опять и опять, даже в очень современной прозе, где нужна особенно свободная, непринужденная интонация, читаешь все то же:

«Возьми (пленника) себе. Храни его хорошенько». И в ответ буквальное, скучное, вымученное: «*Я это сделаю*». А в согласии со всем тоном рассказа, с нравом говорящего надо куда непринужденнее: «*а как же!*» (или – «*еще бы!*»).

Словесная алгебра присуща отнюдь не только переводу,

она тоже признак канцелярита, ее сколько угодно и в наших журналах, газетах, книгах. И она всегда портит, сушит, обесцвечивает любой разговор и любую повесть.

А если без них?

Влюбленные повздорили. После размолвки, оставшись один, влюбленный юноша старается понять: как это случилось? Думает он об этом так: «Мы совершили ошибку, и вот ее неизбежный *результат*».

А дело-то происходит в середине XVIII века, и герой романа – хоть и грамотный, но простодушный юнец, притом недавно из деревни. Отчего же он так странно выражается?

Да оттого, что у автора-англичанина есть слово *result*. И переводчик, возможно, рассудил: зачем это слово переводить, существует же оно и в русском обиходе. А возможно, и не рассуждал, а попросту механически перенес этот самый *результат* в русский текст.

А *результат* ни ко времени, когда разворачивается действие романа, ни к обстоятельствам (ссора влюбленных!), ни к характеру героя никак не подходит. Куда правдоподобней в устах этого героя прозвучало бы: и вот к чему она (ошибка) привела, и *вот что из этого вышло*.

Тот же юноша (весь роман написан от его лица) говорит: «Я долго бродил в одиночестве и читал сам себе *нотации*». Пожалуй, он еще мог бы читать себе *нравоучения*, а в согласии с его характером и с эпохой вернее: *сам себе выговаривал, осыпал себя упреками*.

А вот другая книга, где тоже рассказ идет от первого лица,

то есть требует особенно естественной, непринужденной интонации, да и герой-рассказчик еще моложе – совсем мальчишка, ему всего 14 лет, и время еще более раннее – XVI век... И однако в переводе он изъясняется то как современный архитектор, то как музыкальный критик: «*Планировка города*» – там, где можно хотя бы: *расположение улиц*. «Я хорошо помнил... *модуляции ее голоса*», а можно: *переливы* или – *как звучал ее голос*.

«Я... *провожу рекогносцировку*» – говорит не военный, а одна женщина другой о своих попытках *нащупать почву, разузнать*, как бы той помочь.

В романе о жизни венгерской деревни, притом деревни не современной, а XVII века, герой выражается так: «*Перед лицом компетентных судей... я изложу оправдывающие меня моменты*».

«Ситуация развивалась по инерции» – и это о любви...

Читаешь такое – и уже не веришь ни авторам, ни героям, ни их чувствам. Потому что слышишь не крестьян Средневековья, не романтических юнцов – современников Шекспира или Наполеона, не живых мальчишек и девчонок, а заседание вполне современного месткома. Ведь все это чистейший, классический канцелярит. И обилие чужеродных иностранных слов – быть может, самая верная его примета, поистине самый «*характерный симптом*».

Не собираюсь, подобно ретрографам начала прошлого века, объявлять гоненье на все иностранное и вступаться за

«мокроступы». Со школьной скамьи нам памятны строки из «Евгения Онегина»:

*Она казалась верный снимок
Di comte il faut... (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)*

И еще:

*...Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.*

Мораль, как говорится, ясна: иноплеменные слова и речения не грех вводить даже в самую высокую поэзию. Но – с тактом и с умом, ко времени и к месту, соблюдая меру. Ведь и сегодня многое, очень многое прекрасно можно выразить по-русски.

Общеизвестно: когда-то иностранные слова, особенно с латинскими корнями, приходили в нашу страну вместе с новыми философскими, научными, техническими понятиями и явлениями, для которых в русском языке еще не было своих слов. Многие прижились и давно уже не воспринимаются

как чужие. Но еще Петр I, который так рьяно заставлял домостроевскую Русь догонять Европу во всех областях, от кораблей до ассамблей, вынужден был запрещать чрезмерное увлечение иностранными словами. Одному из своих послов царь писал: «В реляциях твоих употребляешь ты зело много польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно; того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов». Век спустя на защиту родного языка встает В. Г. Белинский: «Употреблять иностранное, когда есть равносильное русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». Пройдет еще век, и на ту же тему В. Маяковский напишет «О фиасках, апогеях и других неведомых вещах»:

*Чтоб мне не писать впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годится для иностранного словаря,
газете – не гоже.*

Казалось бы, если газете негоже, то художественной прозе и поэзии уж и вовсе не к лицу. Но именно от газет (а затем и от радио, еще позже – от телевидения) пошло все шире, все напористей и в обыденную жизнь, и в литературу то, что годится лишь для иностранного словаря, для сугубо специальных статей и ученых трудов.

Не только в газетных статьях и очерках, но и в рассказах,

и в романах счету нет этим самым *интуициям, результатам и моментам*, всевозможным *дефектам, фиаскам и апогеям*.

Особенно легко эта словесная шелуха проникает в перевод. Переводчику непозволительно забывать простую истину: слова, которые в европейских языках существуют в житейском, повседневном обиходе, у нас получают иную, официальную окраску, звучат «иностранным», «переводно», неестественно. Бездумно перенесенные в русский текст, они делают его сухим и казенным, искажают облик ни в чем не повинного автора.

И вот скромные домашние хозяйки, трехлетние карапузы, неграмотные индейцы, дворяне, бюргеры, бедняки, бродяги, легкомысленные девчонки – все без разбору, во все века и эпохи, при любом повороте судьбы, в горе, радости и гневе, объясняясь в любви, сражаясь и умирая, говорят одним и тем же языком:

«Передо мной встает *проблема...*»

«Это был мой последний *шанс...*»

«В этот роковой *момент...*»

И читатель не верит им, не видит и не ощущает ни радости, ни горя, ни любви. Потому что нельзя передать *чувство* языком протокола.

Вот тут и должен стоять на страже редактор! Нет, не писать за переводчика, а просто отметить слова-канцеляризм грозной редакторской «галочкой» на полях. Ведь любому грамотному человеку нетрудно самому избавиться от этих

словечек, найти простейшую замену:

«Передо мной трудная задача...»

«Это была моя последняя надежда...»

«В эту роковую минуту...»

Нет, право же, трудно сочувствовать героине современного романа, если, огорченная неладными с любимым человеком, она не пытается *понять, что произошло*, а начинает *анализировать ситуацию*. Пожалуй, читатель не посочувствует, а усмехнется или зевнет. И как легко вовсе обойтись без этой самой *ситуации*! В крайнем случае довольно сказать – *обстановка, положение*. Не надо *анализировать*, можно *оценить, взвесить, обдумать*.

И в минуты сильного волнения, внезапного испуга или горя куда вернее человеку потерять не *контроль* (controls), а *власть над собой, самообладание*, утратить *хладнокровие*, даже – *потерять голову*!

Если о герое сказано, что *once more he was optimistic*, перевести надо не «он вдруг опять загорелся *оптимизмом*», а хотя бы: он снова *воспрянул духом*. Неуместно во внутреннем монологе: он на все смотрит слишком *пессимистически*. Вернее – *смотрит слишком мрачно, все видит сквозь черные очки...*

И очень плохо – «он ощутил глубокую *депрессию*». В подлиннике-то *depression*, но по-русски все-таки *уныние*, а еще лучше просто: *он совсем пал духом*.

Женщина в трудную минуту немногими обыденными сло-

вами *резюмировала* то, что было у нее на душе, а надо бы: *выразила, высказала*.

Человека, одержимого мучительной, неодолимой страстью, на миг «охватило *чувство какой-то экзальтации*». Право, ничуть не менее выразительно прозвучал бы *самозабвенный восторг*.

«Теперь, вооруженная... любовью, она прекрасно видела все возможные ходы, все соблазны и *альтернативы*. *Интуиция* подсказывала ей...» Неужели о чувствах, о глубинных душевных движениях не лучше сказать: она видела все соблазны и *распутья*, *чутье* подсказывало ей...

«Но с годами *такого рода импульсы* значительно потеряли в силе», – говорит старик, которому не грех бы выразиться проще: Но с годами *такие порывы* почти утратили надо мной власть.

Другой герой действует, «повинуясь внезапному *импульсу*». Не лучше ли – *побуждению, порыву* или даже просто – *неожиданно для себя?*

Или вот о взаимоотношениях сестры с братом: «Выслушивая его *проекты*, она всегда умела подсказать какую-нибудь дополняющую или улучшающую их *деталь*». А вернее: Что бы он ни *задумал*, она всегда умела подсказать какую-нибудь *мелочь*, от которой его планы становились еще полнее и лучше.

Из разговора тех же сестры с братом о старике-отце: «Все же нам следует относиться к нему с *максимальной снисходи-*

тельностью, в последнее время я замечаю в нем разительную перемену».

Не естественней ли живому человеку сказать: «Нам надо быть как можно снисходительнее к нему, в последнее время он очень переменялся»?

Мать боготворила новорожденного сына: «Видимо, он был для нее *компенсацией* за все, что она утратила». А по-человечески верней бы: он был для нее *наградой*, он *вознаградил* ее за все, или, наконец, – возместил ей все, что она утратила.

«*Поговорить с ним было единственной компенсацией*», когда можно: *только* разговоры с ним и *вознаграждали*...

«Как чудесно он *реагировал*...» на улыбку любимой женщины – так передается в современном романе мысль женщины о любимом человеке! Верней бы: как чудесно он *отзывался*, *откликался* на ее улыбку.

Счету нет оборотам вроде «*отреагировал* на ее слова» вместо – *откликнулся*, *отозвался* на них; «трудно предвидеть их *реакцию*» вместо – предвидеть, как они к этому *отнесутся*; «*бурная реакция*» вместо, скажем, *волнение* или *возмущение*.

Молодая женщина ищет выход из сложной трагической путаницы личных отношений. «Она проснулась, лежала и думала повышенно *интенсивно*, как всегда бывает рано утром». А не стоило ли обойтись без учено-казенной *интенсивности*, даже если она и есть в подлиннике? К примеру,

человек может *думать напряженно, сосредоточенно*; может *четко, ясно работать мысль*. Можно найти и еще слова и выражения, которые отвечали бы характеру и настроению героини. Она рассуждает трезво, расчетливо, но все же перед нами внутренний мир человека, а не доклад агронома о севе.

А уж когда повествование отнюдь не рассудочно и не холодно, когда герой взволнован, потрясен каким-то сильным чувством, стократ неуместны чужеродные, газетные слова – они только расхолаживают читателя.

«Смысл всего происшедшего дошел до него благодаря *интуитивному* проблеску». Да просто человека вдруг *осенило, озарило!*

«Сходство *ситуаций разительное*», – думает некто в минуту смертельной опасности, вспоминая, что и другой попал в такую же *переделку*, но чудом остался жив.

Человек, горячо и преданно любящий, вдруг узнал, что ему не отвечают настоящей взаимностью, его полюбили «с горя». Потрясенный, он не знает, как теперь посмотреть в глаза любимой. Никогда еще предстоящая встреча с нею так его не пугала, не радовала так мало... А в переводе сказано, что никогда еще он не шел к любимой женщине «с меньшим *энтузиазмом*».

И в самой обыденной жизни герои, в том числе и дети, вдруг что-нибудь принимают с *энтузиазмом*, когда уместнее сказать – с *восторгом, радостно, даже весело!*

Бездумное, механическое внесение иностранного слова в русский текст нередко оборачивается и *прямой бессмыслицей*. Искажается не только чувство, образ, становится невнятной и *мысль*. Особенно опасно это в переводе. Вместо того, чтобы вникнуть, вдуматься в то, что сказано у автора, и раскрыть, донести до читателя суть, настроение и окраску сказанного, иной переводчик просто калькирует одно за другим слова подлинника, передает их первое по словарю буквальное значение.

Англичанин, один из «столпов общества», в современном романе произносит: I don't believe in segregating the sexes. Anachronistic. Переводчик покорно переносит на русскую страницу: «Я не сторонник *сегрегации*. *Анахронизм*». «Пол» целомудренно пропущен. Фраза получается рубленая, не разговорная, да притом для нашего читателя загадочная, непонятная: для него *сегрегация* связана с прежней обстановкой в ЮАР, но вовсе не с обычаями английского «света», где после обеда мужчины остаются выкурить сигару, а дамы переходят в гостиную поболтать о своих дамских делах. И перевести надо не дословно, а в соответствии с характером говорящего примерно так:

Глупый это обычай, что после обеда дамы уходят. Анахронизм какой-то. А при другом повороте вместо анахронизма

преспокойно можно сказать: это безнадежно устарело.

Другой перевод, другая загадка. Что это, по-вашему, значит: «Он изводил ее своим *пафосом*»? Как часто переводчик механически берет из подлинника слово *pathos*, *pathetic*, не вдумываясь, не раскрывая его значения. А ведь в одном случае это значит, что человек или поступок был *трогателен*, в другом – *жалок*, а в приведенной фразе верней: изводил ее своими *жалобами*, *нытьем*.

Порой доходит до анекдота:

«Всякий, кто хоть раз видел неистовый, *сифонообразный протест* разъяренной и перепуганной кошки, сможет представить себе *реакцию* (тетки) на постыдное намерение племянника».

Что означают эти *reaction* и *protest* и *siphon-like*? Очевидно: кто хоть раз видел, как *шипит* и *фыркает* (точно сифон с содовой) разъяренная кошка, ясно представит себе тетушкин *отклик* (или – как встретила тетушка намерение племянника)! В этом духе и написал другой, настоящий переводчик, потому что от «сифонообразного» перевода редакция, к счастью, отказалась.

* * *

А какую *бестактность*, душевную глухоту выдает подчас бездумное употребление иностранного слова!

Банда расистов избивает негра, и в переводе получается:

«Они перехватывали друг у друга *привилегию* сбивать его с ног». «Привилегия» тут бессмысленная калька. Переводить надо было не слово, не букву, а дух и смысл: каждый старался *первым* добраться до него и сбить с ног.

Канарейка «быстро *сориентировалась*» в незнакомой обстановке. Несчастливая пичуга, не по крылышкам ей такая нагрузка! Надо хотя бы – *освоилась*. Да и о человеке почти всегда лучше сказать не *сориентировался*, а *разобрался*, *освоился*, *догадался*, *нашелся*.

Страсть к иностранным словам порождает иной раз самые странные и дикие словосочетания, безвкусицу, *стилевой разнобой*.

«Да, некоторые *контакты*... выходят *бокком*!»

«Все это страшно *нелогично*, но... *колдуны*... народ *алогичный*». Хотя бы уж: не признают логики, чужды логике, что ли!

«Все эти *реплики* приходилось выкрикивать *во всю глотку*».

Герой рассказа (пусть даже фантастического, и пусть даже имя его Питатель) *лягнул* другого (по имени Аккумулятор) – но *безрезультатно*! Вот уж поистине стилистическая каша! А надо бы: *лягнул*, но *промахнулся*, либо – *но без толку*, но это *не подействовало* (или уж, для пущей иронии, – *не возымело действия*!).

«*Дерзновенный моментально* подвергнется казни» – не правда ли, странное сочетание? В стилизованном, намерен-

но архаизированном повествовании это *моментально* поистине торчит колом.

«В старину все *деревенские* новости *концентрировались у колодца*»! И это не перевод!

Или в телепередаче: «Я не могу *сконцентрироваться*» – вместо *сосредоточиться, подумать*.

«Экономика страны *базируется* на четырех китах»! Да, спокон веку Земля – и та *стояла* на трех китах, пускай уж и экономика на них *стоит*, пускай *опирается* или *покоится*. Но когда на бедных животных она со всей канцелярской тяжеловесностью *базируется*, даже у выносливых китов мороз по коже!

О планете Венера: «Огромный, теплый, влажный мир – вот чем был новый *фронтир* Земли». Так говорит в фантастическом рассказе *вознища*, и переводчик не чувствует возникшей разностилицы, несовместимости этих слов, взятых, что называется, из разных ящиков.

Это непереуведенное *frontier* попадаетея в фантастике не раз, а нужно ли оно – большой вопрос! «Людам нужен новый *фронтир*». Если недостаточно уже привычных *пионеров, первопроходцев, первооткрывателей, покорителей новых земель и новых миров*, можно поискать что-нибудь другое, но понятное, русское, не разрывающее ткань русского повествования. Куда верней перевести не дословно, а раскрыть: людам (человечеству) *нужно идти вперед, открывать новые просторы*, надо, чтоб было где приложить свои силы и про-

явить мужество.

Нет, не надо о тумане над озером писать: «Ветер *формирует* из его клубов полосы», а о толстой женщине, застрявшей в дверях: «Она *блокировала* вход»! И не надо в 1751 году *баррикадировать* дверь, когда человек попросту накрепко, наглухо запирает ее на все засовы. Тут уж слово плохо согласуется не только со своими соседями, но и с *эпохой*: тогда оно еще не было столь привычным, как после Французской революции, и вряд ли попало бы в простой, житейский обиход.

* * *

Необдуманное перенесение чужого слова в русский текст нередко подводит переводчика, играет недобрые шутки и с автором, и с читателем. Возникают неточности и *ошибки*.

«*Абсолютно безапелляционный оппонент*» – упрямый, не переспорить? А смысл: он меня *убедил*!

И уже не в переводе: «Спортсмен выполнил упражнение с *апломбом*». Но апломб, излишняя *самоуверенность* — вряд ли достоинство, спортсмен просто действовал *уверенно*.

В переводах не редкость «*офицеры* полиции», а у одного переводчика появились даже *шофер* – «*младший полицейский офицер, одетый (!) в штатское*», и «*офицеры справочного стола*». Все это, мягко говоря, престранно. Английское officer далеко не всегда «офицер», а здесь все это попросту

полицейские (иногда даже *сыщики в штатском!*) либо *служащие, чиновники*.

Не раз и не два встречаешь *политиканов* там, где politician вовсе не окрашен авторским неодобрением и означает просто – *политик*, политический деятель («Толпа почтительно расступилась перед группой *политиканов* и чиновников»).

В рассказ польского автора вкраплены английские слова. Крейсер называется «*Брейв*» (надо бы перевести – «*Отважный*», «*Храбрый*»). А из динамика в переводе «загремел голос *спикера*»! Но это же не английский парламент! И speaker здесь попросту – *диктор*.

У писателя-фантаста в *лаборатории* стоит большой *танк* со стеклянной крышкой, резиновыми трубками и проводами. Он упоминается опять и опять. В русский обиход *танк* вошел в ином, военном обличье. А здесь tank – *бак, резервуар*. Это второе значение, не столь широко известное, в ходу главным образом в химической промышленности, и переводчик напрасно загадывает читателям загадки.

В рассказе о Первой мировой войне офицер «ощупал *карманы* своей *туники*». Какие уж там у античных туник карманы и какие туники в 1914 году! Просто переводчик увидел знакомое слово да так и перенес его в русский текст – и не вдумался в то, что получилось, не заглянул в словарь, где ясно сказано, что tunic – просто *мундир*!

Анекдот? Ох, немало у нас таких анекдотов. И хорошо, если редактор вовремя заметит, что в переводе люди «мед-

ленно поднимались к небу, точно на могучем *элеваторе*». В отличие от чисто английского lift, в Америке elevator – лифт, подъемник, но для нас *элеватор* все-таки *зернохранилище*!

А как быть, если редактор ошибки не заметил? И вдруг читатель с недоумением обнаружил, что планета Венера *стерильна*? Это уже прямое вранье, английское sterile здесь никак нельзя переносить в русское повествование. Писатель-фантаст хотел сказать, что планета *бесплодна, лишена жизни*.

Дико звучит в серьезной философской повести: дружба наша *импотентна*. В подлиннике impotente означает – *бесплодна, напрасна, бессильна*, ни одному из «друзей» *ничего не дает*. Но ни сам переводчик, ни редактор в журнале, где напечатан был перевод, не почувствовали, как пародийно, нелепо исказило авторскую мысль необдуманно взятое займы слово. Ведь в русском языке оно имеет не то значение, вернее, у нас значение его более узко, ограничено, чем во французском или в английском.

Слово, взятое из подлинника механически, оставленное без перевода, не рождает живого образа, не передает ясно мысль иностранного автора. На таком слове читатель поневоле спотыкается, о цельности впечатления и восприятия нечего и мечтать.

Ну а если иностранное слово не искажает чувства? Не затуманивает мысль? Не приводит к стилистическому разнообразию и прямым ошибкам?

Все равно *в огромном большинстве случаев оно не нужно*, даже вредно: *разрывает художественную ткань*, придает бытовой, лирической или трагической прозе *официальную, казенную окраску*.

Повествование вовсе не требует газетной официальности, и все-таки читаешь: «Если бы поехали туда всей компанией, мы бы все *реорганизовали*» – вместо: *перестроили, перделали, устроили по-другому*. (Ведь это компания в самом обычном, простом значении слова, а не торговая фирма.) А нам «остается сидеть здесь маленькой группой, обреченной на *деградацию*» (вместо – на *вырождение* или даже *вымирание*).

Люди, уцелевшие после катастрофы, «осознавали, что им остается только одна *альтернатива*: умереть с голоду или разделить судьбу ушедших», – да просто *они оказались перед выбором*, а может быть, и «выбор» не нужен, просто: *людям оставалось либо умереть, либо...*

Отец рассуждает о будущем своей маленькой дочки: «... мир, в котором ей предстоит расти, вряд ли будет находить пользу в сюсюканье, в *эвфемизмах*, наполнявших мое дет-

ство» (а куда как лучше – в *недомолвках* и *полуправде*). И он старается «говорить с ней об ужасных и причудливых *зрелищах* с одинаковой *объективностью*». А право, не худо бы перевести все это на обычный человеческий язык: отец старается говорить *правду*, говорить честно, откровенно обо всем, что попадает на глаза страшного и удивительного.

Другой отец, человек чуткий и скромный, опасается своей старомодностью *дискредитировать* сына-подростка в глазах соучеников. По всему настроению, по складу характера куда правдивей прозвучало бы: опасается *уронить сына в их глазах*. А в каких-то других поворотах можно бы сказать и *осрамить его, повредить ему*...

Свадьбу справили *конфиденциально*. А нельзя ли: *без огласки, без шуму*? Мало ли слов и оттенков, которыми ту же мысль можно отлично выразить по-русски! Или в обычном житейском разговоре: «Я тебя не *критикую*», когда надо бы просто – не *осуждаю*.

Чем лучше повесть или рассказ, чем одаренней и человечней автор, тем обидней читать (даже не в переводе), что, допустим, два голоса *корреспондировали* друг другу (вместо – отзывались, *перекликались*, как-то соответствовали, что ли). И дико слышать, что «после смерти отца все братья и сестры (Леонардо да Винчи) вступили в *коалицию*», чтобы лишить его – незаконнорожденного – наследства.

Случай очень показательный и опять не из перевода. Теоретик поучает поэта. Может быть, и не очень удачна строка

«два наводнения *с разницей* в сто лет», но что взамен «неточной» разницы предпочел бы увидеть критик? Более точное (и такое поэтичное!) *интервал*.

Перевод современного романа. Герой «мгновенно пожалел о своих словах. Даже на него самого они произвели *шоковое впечатление*», то есть он и сам *поражен, потрясен* тем, что у него вырвались такие слова. А *шоковое* бывает *состояние* – и это уже из обихода «Скорой помощи». И странно «*человеческий постфактум*», уместней бы – *послесловие к судьбе, развязка судьбы*.

В газете кто-то горячо отстаивает чистоту русского языка, а на другой полосе – беседа «за круглым столом», да не о чем-нибудь, о поэзии, и уважаемые собеседники не раз повторяют: «поэты одной *генерации*», «каждая последующая *генерация*»... Ну почему о *поэзии* надо говорить не по-русски? Чем не угодило сим знатокам слово *поколение*, которым не брезговал Пушкин?

Конечно, переводчик, не совсем глухой к слову, просто не сможет вложить в уста героя возглас: «Прекратите вашу *аргументацию!*» В подлиннике No arguments! – но живой нормальный человек скажет хотя бы: *не спорьте, довольно споров*. Такую откровенную кальку встречаешь только в очень плохом переводе (что, увы, тоже не редкость). Примеры же не столь разительные, нелепости чуть менее вопиющие попадают на каждом шагу.

Человек пишет *апология* там, где достаточно *восхваления*,

люди *привилегированные* – там, где вернее и выразительнее *сильные мира сего*, «семья, базирующаяся на корысти» вместо *основанная, построенная...*

Даже в газетной статье или очерке, тем более в обыкновенном повествовании далеко не всегда надо писать, что человек или явление *доминирует*, лучше – *господствует, преобладает, берет верх*; ни к чему *монополизирует* там, где вполне довольно *присваивает*. Незачем говорить «описания эти истинны и *универсальны*», когда можно сказать, что событие или явление описано *правдиво и всесторонне* (либо, быть может, – *со всей полнотой*).

«Он обошел молчанием *абсолютно нетипичный эпизод*» – не лучше ли *совершенно исключительный случай*?

«Она поддерживала с нами *постоянный контакт*» – а женщина попросту часто *виделась* (встречалась) со своими друзьями!

В таком же неофициальном, житейском повествовании вдруг читаешь: «Теперь он вывернется наизнанку, *чтобы реабилитироваться*». А надо бы просто: *оправдаться*!

Или: «Парк... *реабилитировал* (в глазах героя)... короля» (самодура, который, однако, этот парк неплохо устроил) – опять же довольно бы: *оправдал*! Тем более что рассказ – о событиях вовсе не официальных, и казенные, газетные слова тут не требуются.

«Ты ее *идеализируешь*» – иногда можно и так. Но в живом разговоре двух простых, не склонных к книжности лю-

дей вернее хотя бы: Не такая уж она *хорошая*, как тебе кажется.

В нашу речь прочно вошло: энергичный человек, энергичные действия (хотя подчас ничуть не хуже – решительные). Но незачем людям говорить энергично или даже «полным энергии голосом», верней: *бодро, властно, с силой, напористо*, смотря по характеру и обстановке. В девяти случаях из десяти о человеке лучше сказать, что вид у него не *импозантный*, а *внушительный* или *солидный* (в каком-то повороте даже, может быть, *величественный*) А если люди сражались «действенным, но *малоимпозантным* оружием бюрократизма», то можно лишь пожалеть, что редактор не предложил заменить *малоимпозантное* хотя бы на *малопочтенное*.

«...Были *симптомы*, внушавшие опасения». Но ведь это о чувствах и настроениях людей, медицина тут ни при чем – уместнее русское слово: некоторые *признаки* внушали опасения.

Незачем *he was disoriented* переводить «он получил *дезорентирующие* сведения» – лучше *неверные*, и нет нужды в обиходном разговоре жаловаться, что собеседник тебя «со всем дезориентировал», достаточно: *запутал, сбил с толку*.

Как ни печально, иной переводчик способен написать, что героиня «*находилась под действием ложной пропаганды тетушек*» (очевидно, она *заблуждалась*, ее *сбили с толку их рассуждения, разговоры*) или что герой был тетушка-

ми *проинструментирован* (то есть *выслушал их наставления*). Он «решил стать писателем», но его родственники оказались «*весьма скептически*»! Тут не надо бы даже – оказались отчаянными *скептиками*, в рассказе, написанном очень иронически и чуть старомодно, верней прозвучало бы: *маловерами*. Но слова вроде *sceptic* почти всегда переносят в русский текст нетронутыми даже хорошие, опытные переводчики.

«*Скептические скелеты деревьев*» – что сие значит? «Она *эманировала* злобу вокруг себя» – а может быть, попросту *источала* злобу, *дышала* злобой?

В самом современном тексте незачем человеку стараться «переделать *максимум* дел в *минимальное* количество времени» (да еще «с любезной *миной*»!). Неудачного соседства не было бы, если б герой старался *втиснуть* (*уложить, вместить*) как *можно больше* дел (или *успеть как можно больше*) в *самый короткий срок* (в *самое малое, короткое время, как можно быстрее*).

И если через несколько страниц уместно: «иногда мне хочется изобрести такой *концентрат*», то уже не стоит продолжать: «который в *минимальном* объеме выражал бы *максимум вещей*», а вполне хватило бы в самом *малом* объеме выражал бы *как можно больше понятий*. Вероятно, переводчик соблазнился сжатостью, «концентрированностью» фразы и не почувствовал, какая она получилась казенная. А ведь это говорит о себе живой человек – не сухарь-теоретик, а чуткая, думающая женщина.

Героине современного романа, женщине работающей, вполне интеллигентной, опостытели капризы докучной заказчицы. «Бывают дни, когда *проблемы* мадам (такой-то) меня не волнуют», – говорит она. «У вас (свои) *проблемы*?» – спрашивает собеседница. И дальше передаются мысли героини о себе: «Ее *проблемы* все те же»... (следует перечень). Неужто не вернее трижды повторенные *проблемы* заменить словом *заботы*?

Не надо хозяйке решать *проблему*, что сготовить на ужин, достаточно просто *решишь, что сготовить*. В быту француженки или англичанки, в рассказе или романе европейского автора *problem* сплошь и рядом означает отнюдь не мировую проблему, а просто самую обыкновенную *задачу*!

Почему в переводе человек «победоносно взглянул на слушателей над *архаичными* очками»? Да потому, что в подлиннике *archaic*. А проще и грамотней было бы: взглянул... поверх *старомодных* очков.

«Она не поблагодарила меня за советы, никак не *прокомментировала* их». В подлиннике *comment*, но естественней хотя бы: никак на них не *отозвалась* (*ни слова не ответила*).

«Не буду вступать с тобой в *дискуссию*» – в обычном житейском разговоре простые бесхитростные люди, не книжники и не чиновники, уж наверно скажут: *не стану спорить* (а может быть, смотря по настроению, *ввязываться в спор*).

Вошла *лимфатического вида* служанка. *Lymphatic* означает вовсе не только внешний вид: она была *вялая, малопо-*

движная, неповоротливая, медлительная, а может быть, и ленивая!

«Они *впали в панику*» (еще пример слепоты и глухоты!). Словом *panic* у нас тоже часто злоупотребляют, ведь по словарю *паника* – это крайний, неудержимый страх, внезапный ужас, охвативший, как правило, сразу множество людей. Бывает, конечно, что толпу охватит *паника* или человек *панически* чего-то боится. А чаще можно и нужно сказать хотя бы: *ими овладел ужас, они насмерть перепугались, ему стало страшно, он был в страхе, его охватил ужас, он страшился, смертельно боялся, отчаянно, до смерти боялся*.

Точно так же и *sympathy* по-русски далеко не всегда – *симпатия*, чаще – *сочувствие*, подчас – *приятнь*, *расположение*, *доброжелательство* (особенно в прозе писателей-классиков, в книгах о людях и событиях прошлого или позапрошлого века), и *антипатия* почти всегда менее уместна в русской фразе, чем *неприятнь*.

Не реже попадает в русский текст еще одно злополучное слово – *интеллект*. Особенно в современной научной фантастике, где действуют представители иных миров, наши братья по разуму. И вот в уста не слишком культурного землянина переводчик вкладывает такое: «Они странные и красивые, это верно, но с *интеллектом* не выше, чем у дождевого червя». А говорящий явно не способен так выражаться, он скажет хотя бы: но *разума* (даже мозгов!) у них не больше...

Бедная, бедная научная фантастика... Без конца можно черпать из нее примеры канцелярской тяжеловесности, канцелярской сухости. В любом плохом переводе (а подчас и в неплохом!) встречаешь кальку вроде «Я *не рекомендую тебе с ним связываться*», когда так и просится: *не советую*. Но, кажется, только в фантастическом рассказе можно прочитать, что «мама... иногда чувствовала *парадоксальную жалость*» к девочке, – а вернее да и человечней безо всяких непереваренных, непереваденных paradox: *как ни странно*, мама порой жалела девочку.

А вот опять – отнюдь не фантастическое, повседневное, то, что встречаешь на каждом шагу.

«Припоминаю знаменательный *инцидент*». Конечно же, incident равнозначен нашему *случай, происшествие, событие*, и нет в нем того оттенка, что в выражении «пограничный инцидент».

«Закончил *объяснение* задач нашего *эксперимента*» – а куда лучше: *объяснил, для чего нужен наш опыт*. Научности и серьезности это не повредило бы даже в деловом отчете, а в романе, в разговорах и раздумьях людей – тем более! Зачем unprecedented experience переводить как *беспрецедентный опыт*? По смыслу это беспримерное, небывалое, *неслыханное событие*. Зачастую experience просто *попытка, испытание, проба*. Сухой *эксперимент* не всегда необходим даже в научном тексте.

«Мы оказались в тисках *дилеммы*» – а лучше *перед выбо-*

ром, нелегко нам было сделать *выбор*, у нас не было *выхода*.

Когда англичанин восклицает: *absurd!* – верней и естественней перевести не *абсурд*, хотя и это слово мы тоже позаимствовали из европейских языков, а *чушь*, *вздор*, *чепуха*, *нелепо*, *смехотворно*, в каких-то случаях – *бред* (то есть перевести так, чтобы русский читатель воспринимал русское слово, как европеец воспринимает *absurd*).

И когда оратор в парламенте *was competent*, то есть умно и умело отвечал на запрос, не надо тащить в русский текст «он был *компетентен*», куда вернее: он *был на высоте*, он говорил *толково*, *дельно*, *находчиво*. А в ином случае просто – *знал свое дело* (*знал, что говорит*).

Привыкнув к иностранным словам и словечкам, иные литераторы то ли для солидности, то ли, как им порой кажется, для иронии вставляют их в самые неподходящие речи и описания. Тем легче поддаются этому соблазну переводчики.

У автора буквально: *едва герой достиг* (*добрался до*) клочка тени, места, где можно укрыться от палящих солнечных лучей, едва он туда *дополз*... А у переводчика «едва маневр был завершен»! У автора: *the greatest journalistic scoop*. Тут даже можно бы сказать, что описываемое событие стало величайшей *сенсацией* за все время существования газет. Но переводчику этого мало, он вставляет *два* иностранных слова: это, мол, *был рекорд информации!*

В подлиннике просто: *How would you like it?* – *А как бы вам это понравилось?* В переводе: «Улыбалась бы вам такая

перспектива?»

В подлиннике *suggestions* – намеки, можно перевести: напрасно вы *намекаете*, что с вами поступили непорядочно, я не хочу этого слушать. А в переводе: «Я не желаю выслушивать *инсинуации* (!), что с вами поступили непорядочно». О человеке сказано: *faithful* – *верный, преданный*, можно бы – *воплощенная преданность*, но переводчик ставит: *воплощенная лояльность!*

Два брата ехали, «оцепенев в атмосфере темного купе и стараясь *симулировать сон*». Через 20 лет при переиздании «исправлено»: *имитировать сон!* Одно французское слово заменили другим, даже менее верным. А смысл этой невнятицы по-русски очень прост: братья забились каждый в свой угол и *притворялись (прикидывались) спящими, делали вид, будто спят*.

Что было бы с человеком, попади он «в *аналогичную ситуацию*»? Это уже не из перевода, а из оригинальной повести. Почему-то хорошему, думающему литератору легче написать так, чем хотя бы: окажись он в таком же (подобном) *положении* или попади он в *такой переплет*. Тем легче злополучную *situation* перетаскивает в русский текст переводчик:

«Братья... когда сумма всех необходимых *факторов* с учетом возможных ошибок покажет, что *ситуация* сложилась с *балансом риска* два – один в нашу пользу, мы начнем восстание». Это не пародия! Это опубликованный перевод

фантастического рассказа, причем обстановка – средневековая, действуют воины и монахи, а разговаривают они, как заправские канцелярские крысы XX века.

Увы, так переводят не только начинающие, и отнюдь не только фантастику (которой и вправду нередко занимаются неопытные переводчики, непрофессионалы).

«Такую *ситуацию* нелегко распутать» – а почему не *узел*?

«В такой *отчаянной ситуации*» – почему не в *беде*?

«*Ситуация* не оставляла мне выбора» – а почему не просто у меня *уже не было выбора*?

Одаренный переводчик, притом не новичок, не смущаясь пишет: «Таков был *итог* трезвого *анализа ситуации корреспондентом*». Хотя вполне в его силах и возможностях сказать: *Вот к чему пришел корреспондент, трезво оценив (обдумав) положение*. Тем более что рядом, в рифму к ситуации, есть еще «кто согласится быть свидетелем *эксгумации*?». А надо просто: *кто захочет смотреть, как извлекают мертвецов (или трупы) из могилы...*

«Он был упрям, но тут он нарвался на другого упрямец. На этот раз *инициатива* оказалась в руках собеседника». Да, *initiative* в подлиннике есть. Но не лучше ли, не вернее ли даже в современном романе о хитросплетениях парламентской политики сказать хотя бы: «Конечно, он был упрям, но тут нашла коса на камень. *Хозяином положения* оказался собеседник».

«Командирам предоставили полную *инициативу*» – а луч-

ше бы: командиры могли *действовать самостоятельно*.

А если переводчик пишет: «*Инициатива разрыва* исходила от него», он еще и глух, ибо не замечает совершенно не нужную тут рифму!

И не надо переводить буквально: «отозвался *с сарказмом*» – не нужен и плохо звучит этот «свист». Не лучше ли по-русски: *язвительно* (а может быть, даже *ехидно*) отозвался?

* * *

Есть тут и еще одна беда.

Слова яркие, нестандартные – те же самые *ехидно*, *язвительно*, *едко* – становятся редкостью, даже *насмешку* встретишь не часто: их вытесняет одна и та же *ирония*. Пусть и она по-своему неплоха, но плохо, когда какое-то одно слово заменяет многие, живые и образные, и они постепенно выпадают из обихода, «вымирают, как мамонт со льда».

Странно звучит (о человеке, который считался в определенных вопросах знатоком и высказывался немногословно, но весьма уверенно): «его спокойный, сдержанный *детерминизм*». Философский термин не очень к месту, вполне хватило бы *уверенности* или *решительности*.

Насколько естественней, когда, скажем, *cynical* переводится равноценным русским словом (и не всегда одним и тем же, смотря о ком и о чем речь). Конечно же, у коровы глаза

не *циничные*, а *равнодушные*, и у какого-нибудь мальчишки физиономия едва ли *циничная* – скорее попросту *дерзкая, нахальная*. И конечно, ни к чему в хорошем английском рассказе:

«Даже движения его ног казались *циничными*!»!

«*Террор* в лесу» – а смысл: лесные *страхи, ужасы*.

К сожалению, очень и очень многие авторы и переводчики уже не ощущают *чужеродности* заемного слова в русской фразе – страницы их так и пестрят иноплеменными словами.

В неплохом переводе сложного и впрямь иронического текста сказано: «Простые *механизмы* жизни раздирали *деликатную* розовую кожу моего тельца». Не знаю, как насчет «механизмов», но кожа, вероятно, просто *нежная (чувствительная)*.

Из другого, тоже очень неплохого перевода: «Дом... был одним из тех *курьезных* зданий», которые столько достраивают и переделывают, что в них уже ничего толком не разберешь. Переводчик не догадался подставить русское: *несуразных, нелепых*, а может быть, хватило бы и *своеобразных*.

О ручье: мягкий вкус *профильтрованной* листьями воды – а надо бы: *процеженной* сквозь листья, *отцеженной* листьями.

И еще: человек слушал «птиц, насекомых, *нервный* шорох сосновых иголок» – вот тоже коварное слово! Как часто *pervous* переводят буквально, и оно некстати придает повествованию то ли медицинский, то ли «дамский» оттенок. Шо-

рох сосновых иголок скорее уж *тревожный, беспокойный*. Когда у героя художественной прозы неспокойно на душе, ходить из угла в угол или постукивать пальцами по столу ему тоже хорошо бы не *нервно*, а *тревожно, беспокойно, взволнованно*. Но, к сожалению, и в обыденной нашей речи, и в литературе *нервы* встречаешь поминутно, словно в истории болезни.

«Она выглядела, как обычно, *цветущей*, но *издерганной и нервной*» – переводчик не заметил, что это плохо сочетается. А суть в том, что у героини рассказа *вид был*, как всегда, *цветущий*, однако она *казалась беспокойной и озабоченной*.

«Она так нервничала» – а лучше: волновалась, огорчалась, тревожилась, не находила себе места, не находила покоя (только не «переживала»!).

«Его нервы не выдержали» – а куда лучше: ему изменило самообладание, не хватило выдержки, он потерял власть над собой.

«Никто бы не подумал, что он мог до такой степени распустить свои *нервы*». В подлиннике that he had not been able to trust his nerve (не nerves) – что ему могло изменить *мужество*! Это можно бы счесть нечаянной «глазной» ошибкой, но пристрастие к тому же злополучному словечку обнаруживается снова и снова. «Он начал нервничать», а у автора: His nerve began to fail him – опять-таки мужество ему изменило. Кто-то ухитрился даже космический корабль окрестить «*Нерва*»! А это, конечно, «*Мужество*» или «*Отважный*».

«Он *нервировал* меня», а в оригинале he was baiting me – *поддразнивал, искушал*, в данном случае – *старался вызвать на разговор*. Не стоило бы придирааться к этим все же случайным промахам, не будь они так показательны. Затасканное, стершееся слово употребляют кстати и некстати, уже не вдумываясь, почти не замечая.

А вот как легко и удачно избежал его молодой переводчик: «*От волнения у нее зуб на зуб не попал*».

Если книга – все равно, написанная по-русски или на русский язык переведенная, – пестрит иноплеменными словами, это всегда плохо. Но есть среди них особенно зловредные, пронырливые и настырные слова, слова-паразиты, от которых поистине отбою нет. Они не несут никакой информации, не прибавляют ничего нового. Это – всевозможные *факты, моменты* и иже с ними. В 99 случаях из 100 их можно выбросить без малейшего ущерба для фразы. Словесная труха эта отвратительно засоряет речь, сушит мысль и чувство, искажает образ, живых людей с их горем и радостью обращает в манекены.

«Но не сам *факт* неудачи послужил причиной отчаяния» – *факт* совершенно лишний. Лучше: *Но не сама неудача привела его в отчаяние*.

«Последнее было таким постыдным *фактом*» – а почему не просто: *это было постыдно?*

«Прокомментировал этот *факт*» – господи, да просто: *объяснил, в чем тут дело!*

«Никогда раньше я не пытался этого *анализировать*, просто *констатировал* тот *факт*, что не все идет гладко». Если человек не болен тяжелой формой канцелярита, он уж наверно скажет: ...я не пытался в этом разобраться, видел (*понимал*) только...

«*Фактически* дело обстояло так...» – а зачем *фактически*? Дело *обстояло* так, или: *А на самом деле*, или даже просто: *Оказалось*...

Герой переводного романа обнаружил, что после грозной катастрофы в живых остался только он с тремя друзьями. «Меня поразили этот *факт*, страшный и неожиданный». Право, уж лучше бы в такую трагическую минуту человека поразило страшное и неожиданное *открытие*!

Негр, всемирно известный музыкант, вернулся в родной город, на юг США. Он осмелился приехать в спальном вагоне: «*Факт*, необычный для негра в этих краях». Да просто: *поступок*, для негра в этих краях необычный, неслыханный, либо – *такого негры в этих краях себе не позволяют*. Либо – *о таком в этих краях не слыхивали*.

«Туземец... нисколько не смутил тот *факт*, что они не понимают языка пришельцев». Канцелярский, газетный термин никак не сочетается с неграмотными туземцами. *Факт* тут – и еще в сотнях, в тысячах подобных случаев! – мусор, ненужность, надо сказать просто: *нисколько не смутило*.

«Он мужественно признал тот *факт*, что друг для него потерян». А не вернее ли потрясенному утратой человеку

признать *горькую истину*?

Роман о Венгрии, крестьянский быт, позапрошлый век. Читаем: «Саранча из *фактора*, уничтожающего пищу... превращается в *фактор*, создающий ее...»

А вот другой зловредный паразит нашей речи:

«Самый маленький *шанс* лучше, чем полное отсутствие надежды». А почему бы не сказать: *самая малая искра надежды* лучше, чем *безнадежность*?

Пишут: «не стоит упускать *шанс*» вместо – *упускать случай*, *возможность*; выпал *шанс* вместо – *выпало счастье*, *посчастливилось*, *повезло*, *улыбнулось счастье* (или удача); «наконец я получил *шанс* рассказать о своих похождениях» вместо *наконец-то я мог*, *сумел*, *мне удалось рассказать*...

«У нас мало *шансов на победу*» – а надо бы: *едва ли мы победим*. «Всегда есть *шанс*» – говорит священник (!). Уж конечно, в его устах естественнее *надежда*!

И право же, подчас эти *шансы* приводят на память речи бессмертного Остапа Бендера или крик воровской души из ранних стихов Сельвинского: «А у меня, понимаешь ты, *шанец* жить...»

«У меня не было *абсолютно* никаких *шансов* на спасение» – *абсолютно* рядом с *никаких* лишнее, оно ничего не прибавляет к смыслу, не усиливает интонацию, а напротив, разжижает, разбавляет фразу.

«*Это абсолютно* исключено» – *исключено* само по себе решительно и недвусмысленно, *абсолютно* здесь лишнее.

Говорят, пишут, переводят: *абсолютно верно* – вместо *совершенно верно*, *абсолютно невозможно* – вместо *никак нельзя*, *абсолютная темнота* – вместо *хотя бы непроглядная тьма* или *темно*, *хоть глаз выколи*, *абсолютно одинокий* – вместо *очень* (совершенно) *одинокий*, *один как перст*. А вместо «это уж *абсолютно* глупо» в разговоре куда правдоподобней прозвучало бы – это *уж совсем глупо*, и даже в ином случае, прошу прощения, – *он просто (круглый) дурак!*

«Вся эта болтовня не дала *абсолютно* никаких *результатов*». Непритязательной *болтовне* совсем некстати два таких книжных, официальных привеска, лучше: *ничего не дала*, *ни к чему не привела*, *от нее не было никакого толку* либо, наконец, – *все это были пустые* (*никчемные, зряшные, пустопорожние*) *разговоры*.

В романе десятки раз «абсолютно» стояло там, где лучше бы «совершенно». Оно примелькалось, обесценилось. И в том единственном случае, когда слово это и впрямь необходимо, поставлено в своем истинном значении: нечто приобрело «*абсолютную ценность*» – оно уже не воспринимается.

Порой доходит до анекдотов. Пишут: «Никто не предполагал... что какой-нибудь фермер будет начинать с *абсолютного нуля*». Переводчик имел в виду, разумеется, *на пустом месте* и не заметил, что в текст ворвалось совсем некстати инородное физическое понятие: температура!

Юный герой одного рассказа был «единственным, кого

не затрагивала... радостная, праздничная *атмосфера*». Вот еще одно слово-паразит! Достаточно сказать: мальчика не заражало *общее веселье*, он не разделял *праздничного настроения*. Иногда *атмосферу* лучше передать словом *волнение*, иногда – *обстановка*, да мало ли способов избежать чрезмерной учености или казенщины!

Из газетной заметки: «Увы, дальнейшие события лишь подтвердили, что подобная *атмосфера* ни от чего не *гарантирует*».

А вот случай, когда *атмосфера* употреблена в прямом значении слова, и все-таки в переводе не грех бы ее избежать. В переводном романе (и даже не очень современном) речь идет о белой мыши на подводной лодке: «...это создание *со своим* более хрупким *организмом* предупреждало моряков о *порче атмосферы*». А надо примерно: по этому хрупкому зверьку моряки замечали, что воздух становится негодным для дыхания.

Если бы начинающих литераторов, редакторов, переводчиков можно было учить за партией, не худо бы на обложках тетрадей (как для первоклашек таблицу умножения) помещать примерный список соответствий: слева – образчики того, как чаще всего переводят (вернее, заимствуют без перевода!) иностранное слово, справа – как в девяти случаях из десяти (даже в статье или газетном очерке, а тем более в художественной прозе!) его надо бы перевести. Список получился бы длиной метра эдак на три. Думается, вышло бы

вполне наглядно. И пусть бы начинающий литератор запомнил как дважды два, что

не стоит писать так:

Это полный контраст тому,
что было

аргументы

Стол стоял *в центре* комнаты
оказался *в центре* событий

Не надо совать носа в *детали*

Они привыкли держаться
изолированно

Он оказался изолирован от
остальных

Сделал *паузу*

Наступила *пауза*

После небольшой *паузы*
сказал

Заботливо
культивировавшиеся цветы

Сердито отпаривала

Скудная растительность
вызывала *ассоциации*
с тундрой

когда лучше так:

Совсем не то, что было

доводы, соображения

Среди, посреди, посередине
в гуще

*...в подробности (а может
быть, — заниматься
мелочами или даже
крохоборством)*

*отчужденно, обособленно,
разобщенно, привыкли
к одиночеству*

*отделен, оторван (или даже
просто — одинок)*

*умолк, примолк, ненадолго
замолчал*

*На минуту все затихли,
стало тихо, настала тишина
(затишье), наступило
молчание, все смолкло*

Немного помолчав, сказал

*Заботливо выращенные,
ухаженные*

Сердито возразила

*напоминала (наводила на
мысль) о тундре*

Она командует ситуацией
я моментально уснул
дождался удобного момента
именно в тот момент
В этот самый момент
раздался стук в дверь
Это мне в данный момент не
необходимо
Момент выбран удивительно
удачно

*она хозяйка положения
мигом, сразу, тотчас же
улучил минуту как раз тогда,
в то мгновение
Тут в дверь постучали
Мне сейчас не нужно (ни к
чему)
Это сделано (вышло) очень
кстати*

Кстати, *момент* – это своего рода пробный камешек, лакмусовая бумажка, по которой легко отличить переводчика (и вообще литератора) неопытного либо зараженного канцеляритом.

Мы давно забыли, что и *секунда*, *минута* тоже слова западноевропейского происхождения: они стали у нас своими, обыденными. В *моменте* же и сейчас есть призывок официальности, газетности: *данный*, *текущий* сочетается с ним привычнее, чем *роковой*. Пушкин покинул своего героя «в минуту злую для него». А многие наши писатели всюду, где, смотря по смыслу и настроению, можно и нужно сказать *время*, *минута*, *секунда*, *миг*, *час*, *мгновенье*, *тотчас же*, *с той поры*, *отныне*, *до тех пор*, обходятся одним и тем же способом.

«В момент, когда пробьют часы» – а почему бы не *как только* (или *едва*) пробьют?

«С того момента, как мы познакомились» – а не лучше ли: с *тех пор*, с *того дня*, с *того часа*?

«Бывают такие моменты, когда стихия требует от человека сообразительности и моментальных решений» – это уже нелепо. А надо бы: *В иные минуты* стихия требует... *мгновенных* (молниеносных) решений.

«Но своего апогея вечер достиг в тот момент, когда...» – читаем мы в формально «точном», буквальном, нетворческом переводе, а по смыслу и тону вернее: *Лучшей минутой за весь вечер была та...*

Не странно ли в резком объяснении между двумя близкими людьми: «Мне кажется, ты мог бы выбрать более подходящий момент, чтобы предать меня». Разве не ясней будет горечь, ирония, если сказать: *Удачно же ты выбрал минуту* (или *подходящую...*)

Бывает даже и так, что в подлиннике написано «But it isn't the kind of trouble any of us would want banging over us when we're fighting for our skins». А в переводе: «Но разве можно допустить, чтобы подобная угроза висела над человеком в критический момент». Даже если бы он был в подлиннике, этот «критический момент», по-русски он все равно безлик, невыразителен, и легко заменить его чем-то конкретным, раскрыть, расшифровать, как алгебраический значок. Но у автора его нет. Переводчик даже не калькирует, а при-

бавляет от себя, хотя перевести надо примерно:

«Но когда дерешься не на жизнь, а на смерть, не годится, чтобы над головой висела еще и такая угроза».

Это далеко не редкость: даже когда в подлиннике нет *моментов, фактов, ситуаций*, многие переводчики, по привычке к штампу, вставляют их сами. Щедро сыплют ими и люди, пишущие по-русски. И не чувствуют, не замечают, какой казенной, нудной становится их речь. Не живая речь, не повествование – протокол!

<i>мобилизовала</i> все свои силы	<i>собрала, призвала на помощь</i> (а может быть, и <i>собралась с духом</i>)
адекватно	<i>равноценно, равнозначно</i>
Пантера <i>атаковала</i> девушку	<i>напала, бросилась на</i>
результаты	<i>плоды, выводы</i>
Хитрость эта дала положительные <i>результаты</i>	<i>Хитрость удалась</i>

«Его усилия были безрезультатны» – отчего не напрасны или тщетны? Или, допустим: он старался понапрасну, зря старался, его усилия пропали даром?

Это произвело неожиданный эффект

впечатление (действие, воздействие)

Чудо дало только временный эффект

поразило людей лишь на минуту (а вернее: впрочем, изумленные люди быстро опомнились)

Он чувствовал себя вознагражденным за беспокойство *регулярными* беседами с другом

Частые (постоянные) беседы вознаграждали его

Он позволил себе сделать короткий *антракт* в работе

перерыв, передышку

в моральном аспекте

в нравственном отношении, с точки зрения нравственной

Он был измучен морально и физически

измучен телом и душой

«Вам не кажется, что в *моральном* отношении мы с вами пара?» – было сказано у одного переводчика. В подлиннике: «...Don't you think you might treat me as a moral equal?», то есть примерно: *Мы одинаково смотрим на жизнь, взгляды (понятия) у нас одинаковые, и вы можете относиться ко мне, как к равному, – вам не кажется?*

«Вид комнаты вызвал во мне *сентиментальные чувства*» – а надо бы: при виде этой комнаты я *расчувствовался* (или даже *растрогался*).

Без всяких инцидентов он
долетел до места назначения

Он побледнел,
и агрессивность его исчезла

Они могут ответить на ваши
вопросы во всех деталях

Инстинктивно она
отшатнулась

Особый инстинкт
подсказывал ей

Без всяких происшествий, без
помех, благополучно

и храбрости у него сильно
поубавилось

подробно, толково,
обстоятельно ответить

неволью

Какое-то шестое чувство,
чутье (а иногда нюх! или
какой-то внутренний голос!)

То же и с *интуицией*. Далеко не всегда верно и хорошо сказать, что человек что-то почувствовал, так или иначе поступил *интуитивно*, почти всегда лучше: *неволью, бессознательно, неосознанно, сам того не сознавая*.

Далеко не всегда хорошо сказать, что человек судит о чем-то, относится к чему-то *объективно*. Не хуже, а подчас много лучше и вернее вместо газетного, давно уже стертого, надоевшего *объективный* поставить хорошие русские слова: *беспристрастный, справедливый*.

Хорошо ли в задушевном разговоре: «Я не могу это *игнорировать*»? Не лучше ли: *Не могу закрывать на это глаза?*

Девушка «высокомерно *игнорировала*» слова кучера, а вернее: *пропустила мимо ушей!*

То же самое *ignore*, смотря по контексту, можно перевести и как *не обращать внимания*, и как *смотреть сквозь паль-*

цы – да мало ли возможностей? Надо ли напоминать и доказывать, что язык наш богат и разнообразен? И право же, в огромном большинстве случаев, когда избавляешься от иностранного слова, русская фраза становится и яснее, и ярче.

Получается нелепо и обидно: десятки, если не сотни совершенно разных книг, написанных разными людьми, на разных языках, в разное время, в совершенно несхожей манере и на самые разные темы, становятся неотличимо похожи друг на друга: тот же стертый, однообразный неживой язык, те же казенные слова-штампы. Слова эти въедаются, как репы, даже в добротную ткань хороших переводов – и не только переводов, но и оригинальной прозы. К ним привыкли, их вовсе не считают лишними не только неумелые и неопытные литераторы.

Всячески избегать этих въедливых словечек, отсеивать их, как шелуху, не мешало бы каждому литератору. Заметить их и в крайнем случае предложить замену тому, кто сам не сразу ее найдет, – долг каждого редактора. Заменять нужно, можно и не так уж трудно.

Ибо – таковы азы нашего дела – за исключением редких случаев, когда того особо требует характер повествования или героя, русское слово всегда лучше и уместнее иностранного. Это справедливо и для газеты, для публицистики, но стократ – для художественной прозы.

Куда же идет язык?

Бывает, что литератор, переводчик сыплет иностранными словами по недомыслию, по неопытности – такому можно что-то растолковать и чему-то его научить. Гораздо опасней, когда ими сыплют по убеждению, из принципа, теоретически обоснованно. Намеренно, упорно переносят в русскую книгу, в русскую речь непереведенные слова из чужих языков в уверенности, что слова эти будто бы и непереводимы – и переводить их вообще не нужно!

Порочность этого буквалистского принципа прекрасно показал в своей книге «Высокое искусство» К. И. Чуковский, писал об этом теоретик и мастер переводческого искусства И. А. Кашкин (он учил этому искусству других, именно вокруг него возникла в 30-х годах блестящая плеяда истинных художников перевода); были и еще серьезные, убедительные работы.

Сейчас «война» между двумя школами перевода – уже история. Однако горькие плоды ее оказались, увы, долговечными. Несколько десятилетий Диккенс, например, был доступен нашим читателям только в буквалистском переводе. В таком виде иные лучшие, значительнейшие его романы вошли и в 30-томное собрание сочинений, изданное огромным тиражом. И кто знает, когда теперь будут заново переведены «Оливер Твист», «Домби и сын», «Дэвид Копперфилд»,

«Записки Пиквикского клуба»...

А между тем как верно и талантливо, умно и проникновенно, с каким блеском воссозданы на русском языке нашими лучшими мастерами другие его романы! Рядом с ними злополучные переводы буквалистов выглядят плачевно: чуть не по полстраницы занято не текстом самого Диккенса, а сносками и примечаниями к «принципиально» оставленным без перевода словам, объяснениями того, что же должны означать *гиг*, *бидл*, *атторней*, *солиситор* и прочее. Родителям, библиотекарям, учителям нелегко приохотить ребят к чтению Диккенса, многие отчаивались в своих попытках: ребята не в силах пробиться к сюжету сквозь колючие заросли непонятных слов и набранных бисером примечаний. Где уж там взволноваться мыслями и чувствами героев, изъясняющихся этим чудовищным языком, где уж там почувствовать сострадание, уловить прославленный юмор Диккенса... «Кто это выдумал, что он хороший писатель? Почему ты говоришь, что про Домби (или Оливера, или Копперфилда) интересно? Ничего не интересно, а очень даже скучно. И про Пиквика ни капельки не смешно!» – такое приходилось и еще придется слышать не только автору этих строк.

А жаль.

* * *

Далеко не всякое иностранное слово, которое пытались

вводит даже такие исполины, как Пушкин, Герцен, Толстой, прижилось и укоренилось в русском языке. Много, что вначале привлекало новизной или казалось острым, ироничным, с годами стерлось, обесцветилось, а то и совсем отмерло. Тем более не прижились все эти *солиситоры*, *бидлы* и *гиги* – они не обогащают язык, ничего не прибавляют к *каретам*, *коляскам*, *двуколкам* или, скажем, к *стряпчим*, *поверенным* и *судейским крючкам*, при помощи которых переводчики творческие, не буквалисты и не формалисты, прекрасно передают все, что (и как) хотел сказать Диккенс.

Казалось бы, и теоретически, и практически все ясно, многократно показано и доказано. Превосходная русская проза тех, кто воссоздал на русском языке того же Диккенса, Стендаля, Рабле, десятки лучших произведений классической и современной литературы, – все это может многому научить не только переводчиков.

А если люди учиться не желают? Если, воображая себя сверхсовременными открывателями и архиваторами, они упорно твердят зады?

К примеру, читаешь: «Появился столик на колесах, а за ним *бой* – человек лет шестидесяти». А мы ведь уже научились *боя* заменять, смотря по эпохе и обстоятельствам, *слугой*, *лакеем*, *официантом*. Последние два тоже иностранного происхождения, но давно укоренились, и нет нужды в наше время заимствовать для того же понятия еще и английское слово.

Мало кто помнит, что, допустим, *слесарь* и *контора* – слова немецкие, они давным-давно обрусели, так же, как и *минуты*, *секунды*, *лампы* и многое множество всякого другого.

Но вот выходит из печати сборник рассказов, и – жив курилка! – мелькают никому не нужные *бейлифы* и *ланчи*.

Редкость, единичный промах, «нетипичный случай»? Ничего подобного, такими переводами и сейчас хоть пруд пруди. Опять кто-то *субсидирует* женщину, а не *содержит*, кто-то разгуливает «в шляпе – американской *федоре* (!) с лентой» и т. п. Возрождается высмеянный десятки лет назад *атторней* с подстрочным примечанием, и не только автор, сам герой говорит: «Он был когда-то *генеральным атторнеем* и снова *сможет им стать*» – классический образец дурной кальки, давно отвергнутого формализма и буквализма.

Непостижимо, зачем надо, как говорили в старину, *гальванизировать* этот труп?

Жил в прошлом веке известный пушкиновец, замечательный знаток русского слова П. И. Бартенев. Его внука вспоминает: «Весьма ревностно дедушка относился к русской речи». *Оригинальности* Бартенев не без оснований предпочитал *самобытность*, *орфографии* – *правописание*. Его нелюбовь к иностранным словам доходила порой «до чудачества». Однажды «к деду разлетелся брандмейстер и, *желая блеснуть образованием* (курсив мой. – Н. Г.), лихо начал: “Я явился... *констатировать факт пожара* по соседству с вашим владением и *о мерах ликвидации оногo*”. Дед расswire-

пел: “Что, что? Какие мерзости вы пришли мне тут рассказывать?”».

Не такое уж, в сущности, чудачество.

* * *

Пожалуй, точно так же этот страстный ревнитель чистоты языка встретил бы и нынешнего переводчика, у которого люди и машины названы «единственными подвижными компонентами пейзажа». И заметьте, еще сто с лишним лет назад как раз полуневежда, собрат чеховского телеграфиста щеголял теми самыми иностранными словами, которые у нас кое-кто считает непрременной приметой современности!

Разумеется, не все иностранные слова надо начисто отвергать и не везде их избегать – это было бы архиглупо. Как известно, нет слов плохих *вообще*, неприемлемых *вообще*: каждое слово хорошо на своем месте, впору и кстати.

Но пусть каждое слово (в том числе и иностранное) будет именно и только на месте: там, где оно – единственно верное, самое выразительное и незаменимое! А в девяти случаях из десяти – приходится это повторять снова и снова – иностранное слово можно, нужно и вовсе не трудно заменить русским.

Забыты хорошие, образные обороты: человек *замкнутый* или, напротив, *открытый*. На каждом шагу встречаешь: *контактный*, *неконтактный* – и за этим ощущается уже не

живой человек, а что-то вроде электрического утюга.

Давным-давно некий семилетний поэт, сочиняя стишок, донимал родителей вопросом: как лучше – *a* роплан или э роплан? Малолетнему стихотворцу было простительно: *a* эроплан никак, хоть тресни, не лез в строчку, разрушал размер, а *самолет* в ту пору относился еще только к сказочному ковру...

Еще раньше не кто-нибудь, а Блок вводил в стихи «кружащийся *аэроплан*», но он же пытался и найти замену, стихотворение «*Авиатор*» он начал строкой: «Летун отпущен на свободу». Многие годы спустя *летун* осмыслился совсем иначе, но как хорошо, как полно заменили *аэроплан* и *авиатора самолет* и *летчик*. А чем плох *вертолет* вместо *геликоптера*?

Рецептов тут, конечно, нет. Ведь прочно вошло в наш обиход, даже в детские стишки и песенки, взятое у англичан и французов короткое и звонкое *метро* и не привилась *подземка*, которую еще в «Городе Желтого Дьявола» ввел Горький, опираясь на американское *subway*. Рецептов нет, но возможности русского языка необъятны, и засорять его ни к чему.

Есть еще и такое «теоретическое оправдание» у любителей заемных слов: это, мол, нужно для «экзотики», для «местного колорита».

В 20–30-х годах в переводной литературе такой приметой «местного колорита» были всевозможные *хэлло*, *о'кей*,

олайт. Тогда они были в новинку, и на сцене Камерного театра в знаменитом «Негре» это «хэлло» помогало Алисе Коонен и ее партнерам перенести зрителя в новую для него, непривычную обстановку. Очень долго переводчики, даже лучшие, оставляли такие слова в неприкосновенности. Но сейчас уже установлена простая истина, одна из основ перевода: своеобразие иноземного быта надо живописать не формалистически оставленными без перевода словечками, а *верно воссоздавая средствами русского языка* ту особенную обстановку, быт и нравы, что показаны в переводимой книге языком подлинника.

Как некстати бывает *холл* в скромном доме, где-нибудь в глуши или, допустим, в позапрошлом веке, где естественна *передняя* или *прихожая*! И как необязательны, чужеродны в книге, напечатанной по-русски, всякие *ленчи* и *уик-эндс*, усиленно насаждаемые у нас любителями ложной экзотики.

В австралийской и новозеландской литературе нередко встречается слово *swag*. Это соответствует русской *скатке*, только вместо шинели *скатано* и надевается через плечо одеяло, а в него закатаны, завернуты еще кое-какие нехитрые пожитки. Просто и понятно, сразу рождается зрительный образ: вот с такой скаткой через плечо, как по старой Руси с котомкой за плечами, бродят по стране в поисках работы сезонники-стригали и всякий иной неоседлый люд. *Swagman*, то есть человек со «свэгом», – это чаще всего именно *сезонник*, а подчас и *прямой бродяга, перекати-поле*.

Так или вроде этого и надо переводить. Однако формалисты упорно, наперекор всем доводам и уговорам вставляют «свэги» и «свэгменов» в русский текст, загромождают книгу сносками и примечаниями.

Окончание «мен» в составных словах, как правило, вообще не нужно, ведь английское *man* – это *человек*, и куда лучше сказать *полицейский*, чем *полисмен*. Но одни об этом просто не задумываются, а другие полагают, будто так «колоритнее», забывая, что переводная книга должна все же стать явлением *русской* литературы, должна читаться так, как будто она *написана по-русски*, а не на каком-то особом гибридном языке.

Вспоминается: в начале века Игорь Северянин (а он ведь славился словесными изысками и нововведениями) вложил в уста влюбленной женщины такое:

Нельзя ли по морю, шоффер? А на звезду?

Так и писалось тогда на французский манер это новое, редкостное слово. Минули десятилетия, *шофер* давно потерял всякий привкус изысканности, понемногу его заменяет *водитель* – простое и ясное слово чисто русского строя.

И стоило послушать, как в наши дни *водитель* такси, просидевший сорок лет за баранкой, брезгливо рассказывал: «Теперь всякий мальчишка – хоть не безусый, а бородатый да гривастый, мода такая – не обратится к тебе по-людски, а

все *шеф* да *шеф*. И откуда они только набираются...»

В самом деле, откуда? Из кино? Из книг? Понаслышке от приятелей, побывавших за границей, от туристов?

Мальчишке, может, и невдомек, что не все стоит перенимать и не всем щеголять. Но в сотый раз спросим себя: кто же должен прививать ему вкус, чувство меры, бережное отношение к родному языку? А заодно – и уважительное отношение к человеку, с которым разговариваешь?

И кто будет прививать работнику слова, говорящему и пишущему, уважение к языку, на котором мы все говорим с колыбели, на котором обращаемся к читателю? Кто, если не мы сами – литераторы, редакторы, учителя?

Когда-то Ильф и Петров живо изобразили одноэтажную Америку и своего проводника по ней, его *кар* и неизменный возглас «Шурли!». Но в наши дни поездки за рубеж не редкость. И *каждый* пишущий спешит украсить статью, очерк, путевые заметки, роман новыми штрихами «местного колорита». На русской странице уже чуть не половина слов – чужие. Начинает рябить в глазах.

Зачем в придачу к США, Америке, Соединенным Штатам (подчеркиваю – не в устах «модернового» стилиста, просто в заметках хорошего писателя) непереуведенное *Юнайтед Стейтс*?

В семье двое детей – *бой энд гёрл*. Почему не сын и дочь, мальчик и девочка? Для «колорита» хватило бы уже известных кока-колы, джина, виски – так нет же: люди ужинают

жареными *чickenз*, покупают «бутылочки с *джинджер эль*», потягивают *оранджус*. Писавшийся у нас когда-то на французский манер *оранжад* давным-давно уступил место *апельсиновому соку* – зачем же теперь его переводить на английский?

Зачем читателю спотыкаться о *джинджер эль*, да еще почему-то несклоняемый?

Конец 1971 года. В Нью-Йорке – митинг сторонников мира. По словам журналиста, оратор призывает: «Все, кто требует... немедленного прекращения войны, кричите “Ай”!»

– Ай! – мощно ответил зал.

– Ну а те, кто хочет победы во Вьетнаме, кричите «*Ней*»! – Гробовое молчание.

Что это значит? По смыслу читатель угадает: да и нет. Но сперва его наверняка смутит это «*ай*». Оно не похоже даже на знакомое многим «*йес*». А у нас *ай* – вскрик боли, испуга.

В газетном очерке четырежды введена *сабурбия* – спрашивается, чем автору очерка не угодил *пригород*? Тут же четырежды *басинг* с пояснением в скобках: «от слова *bus* – автобус». Без счета – *десегрегированная* школа и еще многое. Даже не поймешь, на каком языке это написано! Все это можно передать по-русски: совместная школа, совместное обучение белых и черных, школьные автобусы и «битва» за них.

А уж с *сабурбиями* надо воевать без пощады, не то скоро нам придется читать по-русски с помощью английского сло-

варя!

Обязан ли каждый читатель знать, что такое *тенцент*, *тьютор*, *инициация*, *блэк-аут*? Кстати, их нет в обычных словарях *русского* языка: ни в многотомном академическом, ни даже в словаре новых слов. И все же в одном переводе почтенный профессор вспоминает юность, однокашников – и... *тьютора* (почему бы не по-русски – *наставника*, *учителя*?). У другого переводчика в хорошем романе – «*инициация* перед путешествием», а человек просто готовится к путешествию, *ждет* его, *предвкушает*.

«У меня наступил блэк-аут»! И это даже не с английского, это Ст. Лем! А *blak-out* здесь значит – я *потерял сознание*, у меня *потемнело* (*помутилось*) в глазах.

Зачем писать, не переводя: «честный *серв*» (по смыслу *раб*, *слуга*, в других случаях – *приспешник*, *прихлебатель*, а то и *подхалим*)?

Зачем в повести (не в учебнике географии!) раз десять – *эстуарий*, отчего не устье реки?

Зачем нужен *трен жизни* вместо *образ*? Может быть, это ирония? Ну а *отленчевались*? Тут уже иронии нет и в помине, так почему бы не *позавтракали*, *пообедали*, *перекусили*?

Зачем загадывать читателю загадки? Вот некто «присел на корточках у *фондю*, в которой что-то шипит». Что за штука этот урод «фондю» и с чем его едят? Во французско-русском словаре такого не нашлось, в «Ларуссе» это – изысканное, хотя и скороспелое блюдо из сыра со специями. Но необя-

зательно же нам разбираться во всех тонкостях кухни всех стран. И не лазить же по словарям не одного – нескольких языков, если у того же автора на другой странице едят «суп и *стейк*»! И зачем кокетничать *стейком*, если у нас уже давно «прижился» бифштекс?

Многим, особенно в портовых городах, уже знакомо словечко «бич» – оставшийся на берегу моряк (чаще – ленивый, негодный, спившийся). Но обязан ли читатель или зритель телевидения знать, что такое *бич-бой* (видимо, служитель на пляже)?

Не странный ли адрес – «Лавандовый *суп*»? Похоже на суп. А не лучше ли перевести – Лавандовая *аллея*?

В уважаемой газете, которая часто выступает в защиту языка, на тех же страницах появляется: «Ни одна “*суперстар*” экрана не в состоянии больше собрать такую аудиторию, как “*шоустар*”...» Есть же у нас слово *звезда*, есть даже фестиваль «Московские звезды»! На тех же страницах бьет в глаза крупно набранный заголовок: «Последняя *суперстар*» (уже без кавычек) с подзаголовком «в объективах *массмедиа*»... Что это, автор хотел покетничать тем, как по-свойски он себя чувствует в стихии наимоднейших зарубежных словечек? Но не каждый читатель обучался английскому, может, он, бедняга, учил немецкий или французский...

Американизмы вторгаются сейчас чуть ли не во все языки мира, особенно в западноевропейские. Вместе с модными

новинками, рекламой, фильмами, джазом *импортируется* и модный жаргон. Как сообщали газеты, французское правительство, например, приняло закон о защите языка, о запрещении включать во французский язык новые англицизмы. Во Франции год от году растет тревога всех, кому дорог родной язык. Она прорывается и в переведенном у нас романе Ж.-Л. Кюртиса «Молодожены». Героиня романа, некая *дамочка*, так и сыплет американскими словечками и оборотами. «*Этот незаконнорожденный жаргончик один ученый профессор окрестил “франглийским”, тщетно надеясь тем самым убить его в колыбели*», – пишет автор.

Находятся и у нас *дамочки* обоего пола, которые уже сварганили такой же незаконнорожденный жаргончик наподобие *франглийского* — какой-то, черт его знает, *амрусский* – и из пижонства или по недомыслию щеголяют им на каждом шагу. Но зачем же нам этот жаргон пополнять, давать ему доступ в газету, в журнал, в книгу, зачем же его узаконивать?!

Недостаток вкуса, такта и чувства меры достигает подчас таких «высот», что поневоле вспоминаешь бессмертную пародию Мятлева «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границею, дан л’этранже». Вон еще когда приходилось оружием сатиры воевать с засорителями родного языка. Но ведь эпопея мадам Курдюковой писалась чуть ли не полтора века назад! Неужто мы с тех пор не стали разборчивей, не научились бережней относиться к родному слову, разумней и строже – к слову заемному?

Мало того, что без толку и меры вводят иностранные слова, – делают это еще и с ошибками. Уже не раз встречалось *апробированный* – очевидно, забыли или не знают, что *апробировать* значит *одобрять, утверждать*, и производят это слово от русской *пробы*!

Или вот в интересной статье читаем: «Мелодия приводит на память *один* из популярных *шансонов* Сальвадоре Адамо». Почему не сказать *песню*? А уж если понадобился «французский прононс», так ведь *chanson* – женского рода, не *один*, а *одна*! Вот и получилась та самая смесь «французского с нижегородским»...

Обозреватель говорит с телеэкрана о нашем госте: это «один из *ведущих лидеров*» своей страны. А ведь этот обозреватель подолгу живет в той стране, говорит на ее языке и не может не знать, что лидер – это и есть *ведущий* (от *lead* – вести), а отсюда – руководитель.

В меню «легюм из овощей», а *le2gumes* и есть овощи!

Вдвойне обидно встретить такой оборот в хороших записках хорошего писателя: люди пили «горьковатый *биттер*». Но *bitter* и есть *горькое* (пиво)! Так разве не лучше обойтись без непереуведенного названия и без этого двуязычного «масла масляного»?

Множество иноязычных слов и терминов принес и приносит, к примеру, спорт – они приходят с каждой новой игрой. Часть их постепенно отмирает: мы говорим *теннис*, но мало кто помнит, что вначале игра называлась *лаун-теннис*. А

пинг-понг все чаще заменяют *настольным теннисом*, говорят о *маленькой ракетке*, то есть сводят инородное название к прежним, привычным.

Уже трудно себе представить не только наш быт, но и наш словарь без *хоккея, футбола, волейбола, баскетбола*, но почти привился было *ручной мяч*. Однако в последнее время его опять вытесняют *гандболом*. А нельзя ли найти что-то свое? Ведь вот забылись *беки, хавбеки и голкиперы* – их прекрасно заменяют русские слова: *защитники, полузащитники, вратари*.

Одно время даже *матч* стали заменять *состязаниями и товарищескими встречами*. Кое в чем тогда пересолили, но были и удачные находки. Как спокойно мы обходимся, например, без недавно еще модного слова *скетч* – его успешно заменяет хотя бы *сценка*, чье иноземное происхождение давным-давно позабылось.

* * *

Дружно взявшись за дело, после многолетних стараний и призывов ревнители чистоты языка и противники его порчи в последние годы кое-чего добились. Например, с вывесок почти исчезли безобразные чудища вроде *Мосгостехснабсбыта*. Борьба с заемными, инородными словами тоже идет волнами, кампаниями. Но не успеешь худо ли, хорошо ли отбиться от чего-то одного, хватать – надвигается новый

вал! Иностранные слова и термины захлестывают нас. Как тут быть?

Прежде всего – опять-таки отбирать строже. Принимать только то, что несет в себе полновесное зерно, беспощадно отбрасывая шелуху, мякину. Заменять или переводить русским равноценным словом все, что такой замене и преобразению поддается. Так оно шло – стихийно, само собою – и в прошлом. И все мы, кто причастен к работе со словом, должны этому разумному отбору и замене всячески помогать.

С каждым новым явлением науки, техники ширится и поток новых терминов. Не худо бы и его ввести в какое-то русло. Тут тоже необходима мера, незачем перенимать все подряд.

Вышел на экраны, показан по телевидению документальный фильм. Люди смотрят, волнуются, запоминают. А название – «*Единственный дубль*»! Но слово *дубль* означает *повторение*! В картине «игровой» могут быть десятки дублей – повторно снятых эпизодов. Суть же этого фильма: все в нем – сцены в падающем самолете, пожар, убийства – подлинное, *не повторялось* и неповторимо. И назвать бы его вернее «Единственный кадр» или «Без дублей»!

Могут возразить, что *дубль* стал профессиональным термином и равнозначен *кадру*, хотя бы и первому. Ответ один: беда, что почти в каждой профессии создается свой жаргон без всякой мысли и заботы о правильности русского языка, а печать, радио и экран такой жаргон распространяют в ущерб

нашей общей грамотности. И опять мы слышим знакомое оправдание: «это вошло в язык».

Да ведь потому и «вошло», что мы плохо защищаем чистоту нашей речи! Ведь и *шанс*, *проблема*, *момент*, *ситуация* тоже многие говорят на каждом шагу, к месту и не к месту – и это очень печально! Это и есть *результат*, а вернее – горький плод бездумного, бессовестного обращения с русским языком.

И как всякая измена русскому языку, неумеренное употребление «ученых» иностранных терминов ведет к шероховатостям, сдвигам, а то и прямым ошибкам.

В одном переводе (кстати, неплохом) встречаешь названия *Фарсайд* и *Эртсайд*. В первый раз выходит совсем непонятно: «загадки Фарсайда» звучат, как какой-нибудь «слой Хевисайда», «Сага о Форсайтах» или «теорема Пифагора». А это попросту обозначает теневую, обратную сторону (side) Луны и «лицо» ее, обращенное к Земле.

В переводе с японского (быть может, переводчик и редактор владеют японским, но не знают английского?) мы находим *Инланд*, лежащий ниже уровня моря. Как и Фарсайд, это кажется названием:

«Ну и пусть прорвет плотину, ну и пусть затопит огромные просторы Инланда». Но ведь на самом деле это просто суша, внутренние земли (Inland), часть страны, удаленная от побережья. Зачем же оставлять непереуведенное слово? Что это – непродуманность или опять щеголянье экзотикой?

Многие и многие теоретики, ученые, журналисты убеждены, что мудреные «иноплеменные слова» – это неременный, неотъемлемый признак современности, примета века.

Рьяным сторонникам сверхсовременного стиля и невдомек, что тут они оказываются заодно с самыми допотопными формалистами и буквалистами. Этот *канцелярит по убеждению, канцелярит принципиальный* прорастает и в художественную литературу, и в разговорную речь. А его поборники утверждают, что так и должно быть. Все равно, мол, дело идет к общему, всемирному, единому языку. Развиваются международные связи, с каждым годом на Земле становится больше слов единых, универсальных, общих для всех стран и языков – как всеобщие, всем одинаково знакомы неисчислимые понятия и термины в области науки, техники, политики...

Однажды «Комсомольская правда» рассказала о старом ученом-лингвисте Д. Г. Баеве, который много лет работал над созданием всеобщего языка. Язык этот очень прост и всем понятен.

«Медикос рекомэндо променадере анте ноктус дорма фор консервация де санита». Да, и не посвященный, а просто грамотный человек без особого напряжения поймет, что *врачи рекомендуют гулять перед ночным сном для сохранения здоровья*.

Справедливо: в мире давно уже существует интернациональная лексика, есть слова, получившие международное

гражданство и всем понятные: *отель, портмоне, реванши, шлагбаум, штраф, старт, камера* – таких слов тысячи. И есть много приставок, тоже понятных на всех языках: *де* монтаж, *анти* патия, *ре* организация, *экс* порт, *суб* тропики... Сходна конструктивная система морфологии и синтаксиса английского, русского, французского, немецкого, испанского языков. Можно образовать множество составных слов: если *ваза – сосуд*, то понятно, что такое *фруктваза* или *флорваза*.

Спору нет, всеобщий язык полезен, им легко овладеет каждый. Смогут объясняться друг с другом люди из разных стран, и уже невозможна будет трагическая немота человека «без языка» в чужом краю (помните рассказ Короленко?). Это всем доступно и понятно, как морской язык флажков или азбука Морзе, и объяснить можно будет куда больше, чем, допустим, жестами.

И мысль о всеобщем языке далеко не новая. Еще в первой половине XVII века ее высказал Декарт. Люди изобретали такие языки давно, создано их было немало – десятки, главным образом на основе латыни, ведь латинский алфавит знаком огромному большинству людей. Но, составленные искусственно, так сказать, рожденные «в колбе», они, подобно младенцу из колбы – гомункулусу, оказались нежизнеспособными. Испытание временем по-настоящему выдержал только эсперанто. Он живет уже сто лет, распространен довольно широко, есть на нем и литература, даже художе-

ственная.

Но неужели такой язык способен *заменить* языки национальные? Неужели в десять тысяч общепонятных алгебраических символов, сухих значков словесной морзянки, втиснешь то необъятное богатство, которым одарили нас Пушкин и Тютчев, Гоголь и Чехов, Блок и Твардовский?!

Всеобщий язык нужен вовсе не для этого. Честь ему и место, но именно только к месту и ко времени. Как и всякий сверчок, любое ученое, официальное или искусственно созданное слово должно знать свой шесток и служить только по назначению. До всемирного и всечеловеческого такому языку очень, очень далеко.

Позволю себе еще одну ссылку.

Как-то в «Новом мире» напечатан был интересный очерк В. Беркова об Исландии, стране с очень своеобразным бытом и культурой. Вот любопытный и весьма поучительный отрывок из этого очерка:

«Есть еще одна черта у исландского народа – это любовь и интерес к родному языку. Язык и литература – это то, что на протяжении многих веков спланивало народ. О колоссальном богатстве исландского языка писалось много. Много писалось и об исландском пуризме – стремлении не допускать иностранные слова в язык. В исландском *почти нет иностранных слов* [*курсив всюду мой. – Н. Г.*]: то, что в других европейских языках выражается интернационализмами, здесь обозначается словами, *созданными из средств родного*

языка. Для таких понятий, как, например, революция, социальный, техника, космос, мутация, калория, спектр, стадион, автобус, кинофильм, атом, факультет, энергия, фотоаппарат, и для тысяч и тысяч других понятий, современный исландский язык использует *свои слова, не прибегая к заимствованиям*. При бурном развитии современной науки и техники, когда буквально каждый день приносит новые понятия, такая *борьба против иностранных слов, конечно, очень нелегка*. Но пока... (она) *ведется довольно успешно*... Причина (этой борьбы) кроется в стремлении очень маленького народа сохранить в чистоте то, что он считает одним из своих величайших национальных достояний, – язык».

Родной язык – драгоценнейшее достояние каждого народа, будь он велик или мал. И опыт исландцев, право же, очень интересен. Быть может, тут есть и какая-то чрезмерность, пересол, и, скажем, на русской почве такое вернуло бы нас к пресловутым *мокроступам*, а это уж совсем лишнее. Но, бесспорно, в бережной и ревливой любви исландцев к родному языку есть большая мудрость.

Нельзя, невозможно позволить канцеляриту, проникающему почти в каждый национальный язык (канцелярит тем и отличается, что он наполовину состоит из слов «всеобщих»), оттеснять и вытеснять этот национальный, родной язык.

Это невозможно не только потому, что «общепонятный» словарь очень ограничен, не вмещает великого множества оттенков мысли и чувства, а значит, сделал бы речь и лите-

ратуру бедной, нищей, скованной, а ведь в картотеке Института русского языка собрано 440 тысяч слов. В 17-томном академическом Словаре русского языка – 150 тысяч слов.

Это невозможно еще потому, что, хочешь не хочешь, «международные» слова почти все – с латинскими корнями и латинскими приставками.

Да, разумеется, на всех языках, во всем мире понятны *Советы* и *большевик*, *колхоз* и *спутник*. Прелюбопытно и поучительно было встретить в одном западном романе современного автора слово «nogoodnik», построенное из английской основы «no good» плюс суффикс нашего «спутника». А ведь едва ли автору знакомо очень близкое к его выдумке (даже по звучанию!), прелестное по выразительности старое русское слово *негодник*. Такое встречное влияние, обратная связь, бесспорно, существует.

И все же, несомненно, идет некоторая «латинизация» языка. Можно, повторяю, на этой основе построить всеобщий язык, чтобы использовать его как вспомогательное орудие. Но перейти на такой язык значило бы отказаться от исконно своих, родных слов, вытеснить их заемными или искусственно составленными, по сути – отказаться от родной речи! Это уж такая противоестественная дикость, что и обсуждать, казалось бы, нечего. А меж тем...

А меж тем на практике именно в этом направлении гнут и ломают нашу речь и литературу поборники *тьюторов* и *оранджусов*. И уверяют, что таков вообще естественный

путь развития языка!

Читаешь: «...сюрвейер их не выпустит. Сивер осмотрел штекер фидера...» На каком языке это написано? Два с половиной русских слова на строчку, затерянные, сиротливые. А ведь это даже не перевод!

В интересных путевых заметках хорошего писателя читаем: «Удивительна эта способность русского языка так обкатать чужое слово, что оно уже и чужим не кажется. Теперь у английского parking образовалось целое семейство близких и дальних родственников. Тут и “припарковаться”, и “парковочка”... Шофер нашего посольства однажды сказал: “Ну-кась я вот тут припаркуюсь бочком, авось да никто не выгонит”. И на слух все слова тут были русские».

Справедливо подмечено. Русский язык в своей необъятности, гибкости и силе может многое усвоить и преобразить. Чуть не сто лет назад одна чеховская героиня «робко замерсикала» – тоже звучит совсем по-русски! Однако язык не всеяден, это ведь не страус, глотающий камни, и незачем ему поглощать чуждую пищу без разбору и меры.

В «Литературной газете» опять и опять разгораются споры о языке. И кое-кто пишет: нашему языку никакие нововведения не страшны, все полезное он усвоит, лишнее отбросит, за века ничто не замутило его чистых вод, не замутит и впредь.

Но ведь в веках не было миллионных тиражей газет и книг, да и миллионного читателя, ибо сама грамота была не так уж

широко доступна народу. И не было радио, телевидения, новых источников информации – и, увы, нередко источников порчи языка. А теперь они ежедневно, ежечасно обрушиваются на нас водопады, лавины сообщений, новостей – и... тех же канцеляризмов.

Со столь мощным потоком уже не так легко справиться. За нынешнее десятилетие промышленность может загрязнить реку сильнее, чем за минувшую тысячу лет. То же и с языком. Теперь самые чистые воды можно замутить, загубить очень быстро.

И правы те, кто бьет тревогу, зовет встать на защиту природы и на защиту языка.

Ну, разумеется, смешно спорить: язык не застывает, не стоит на месте, а живет и развивается, отмирают одни слова, возникают другие.

Но человек на то и человек, чтобы учиться управлять всякой стихией, в том числе и языковой.

Мертвый хватает живого

Да, язык живет и меняется, но нельзя допускать, чтобы он менялся к худшему. Не пристало человеку быть рабом стилистики. Его долг – спасти от мертвечины все, что ему дорого. Быть рачительным хозяином языка, не дать живой воде его уйти понапрасну в песок.

Каждая *реакция, ситуация*, каждый обобщенный алгебраический значок канцелярита вытесняет из обихода с полдюжины исконных русских слов, обозначающих конкретные оттенки чувств.

Это и есть оборотная сторона канцелярита: язык утрачивает краски, понемногу забываются, выпадают из обихода образные, полнозвучные, незатрепанные слова. Они пылятся бесполезным грузом в литературных запасниках, вдали от людского глаза, и уже не только школьник, но и иной писатель, редактор слыхом не слыхал об отличном, ярком, выразительном слове и должен искать в толковом словаре его значение...

Да и отнюдь не редкие слова мы начинаем путать, искажать. Сбиваются даже очень одаренные люди.

Речь о Первой мировой войне. «*Воздушный бой* был новостью... Приобретение... сноровки *в воздухе* вызывало у *летчиков* гордость... Они ощущали себя... своего рода *землепроходцами*!»! (Все же – *первопроходцами*?)

Известный поэт печатно хвалит начинающего. Сперва оговаривается: «Мы часто разбрасываемся словом *талант*, забывая, что это высокое слово применимо в поэзии к таким *истинным явлениям* нашей литературы, как... Пушкин». Потом все же применяет это большое слово к рецензируемому поэту и в доказательство приводит стихи:

*И чтоб согреться в лютый час,
Деревья вдоль завалинки
Пустились в дружный перепляс
В огромных снежных валенках.*

Да, неплохо. Правда, еще вопрос, можно ли это ставить в одном ряду с Пушкиным. Но дальше сказано: «Только вдохновенное видение русской природы могло родить вот такие чистые и *откровенные* строки».

Спрашивается, при чем здесь *откровенность*? Может быть, автор хотел сказать, что эти стихи звучат как *откровение*? И что означает *истинное явление*? Словам приписан какой-то не тот смысл – и они не раскрывают мысль автора, а лишь сбивают читателя с толку.

А у другого писателя герой ошеломлен чьим-то *откровением* – вот тут-то нужна *откровенность*!

В первом издании этой книжки, в 1972 году, оба эти примера приводились еще как редкая ошибка. Но *откровение* вместо *откровенности* все нахальней «входит в язык». Все чаще читаешь, что, допустим, герой опасается размякнуть –

«начнутся *приступы откровения*, мягкотелость...».

Один наш прозаик рисует свою героиню так: *слабогрудая улыбка, согбенная головка!* Чуть дальше о ней же: *согбенный образ*. Что же она – дряхлая старуха или калека? Ничуть не бывало: хорошенькая девушка, и ко всему у нее *вьющийся затылок!*

Или вот один переводчик пытается уверить читателей, что у героини волосы цвета *вороньего крыла*. Так и напечатано! Вероятно, выводя сие на бумаге, переводчик думал только о немецком слове *der Rabe* или *die Krahe* и не представлял себе, что же стоит за словом, какой рождается зрительный образ.

Очерк в журнале «Подъем», герой – наш современник, молодой парень из казаков. У него тоже «гордый, цвета *вороньего крыла, чуб*». Уж наверно, очеркист неплохо знает родной язык, и, наверно, очерк прочитан был редактором. Неужто в тех краях, в самом сердце России (журнал печатался в Воронеже!) не отличат *серую* ворону от *черного* ворона?

Отличат, конечно, когда увидят на дереве, а не на печатной странице. Один читатель возразил мне: есть несколько пород ворон, в том числе и черная. Да, верно. Но в поговорку, в речение искони вошел именно ворон: и тот, что ворону глаз не выключет, и тот, чье крыло – символ самой черной черноты, в отличие от вороны, которая (пуганая) куста боится. Неужели «*вороново крыло*» уже забывается, уходит в прошлое вместе со многими золотыми крупницами русской

речи?

Странно исказилось слово *«усугубить»*. Некогда оно означало – удвоить, позже – еще и усилить, увеличить (заботу, внимание и т. п.). Но ведь стали писать: *усугубить положение, ситуацию!* 200-тысячным тиражом распространялись такие словесные уроды: «Никто не назвал бы ее (самку кита) красавицей, усеявшие переднюю часть плавников вздутия только *усугубляли картину!*»!

Или: *«Положение усугубляется тем, что...»* Примерно так «вошло в язык» безграмотное «переживать» в значении волноваться, огорчаться. Сначала словечко это было одной из примет пошлой, мещанской речи, оно могло прозвучать в едкой пародии Аркадия Райкина, вложенное в уста какой-нибудь обывательницы: «Ах, я так переживаю!» А потом началась цепная реакция. Спортивный комментатор восклицает: «Мы переживаем за наших ребят!» – и слышат его миллионы болельщиков.

С этим «переживать» скрепя сердце примирился даже К. И. Чуковский. Но с десятками, сотнями таких непрошенных гостей мириться нельзя – иначе нас затопит поток обыкновенной безграмотности. Так «входят» чудища: *многоаспектный, агентесса, селитебные* (жилые!) районы, *маскульт* (а это видите ли, массовая культура).

Из толстого современного романа: «Оказывается, в свое время на квартире у “цветочницы” неоднократно останавливался Апресян. Хозяйка своеобразной “гостиной” знала...

кому она предоставляет убежище...» Совершенно ясно, что автор не отличает *гостиную* от *гостиницы*. «Не задавай наивных вопросов, мы не дети, – с явной *интрижкой* ответил...» другой герой того же романа. Поневоле усомнишься: да понимал ли автор смысл слова, которое вывела его рука? Может быть, герой отвечал *с ехидством, с подковыркой, намекал на* какую-то *интрижку*? Но отвечать *с интрижкой* до сих пор по законам русского языка было невозможно (смотри любой словарь).

Молодежный журнал печатает весьма лихо написанный роман. Один из героев – ученый! – предостерегает летчиков: «Не блудите в небе!» *Ученому* (так же, как и автору) полезно знать русский язык хотя бы настолько, чтобы не смешивать глаголы *блудить* и *блуждать* (плутать, сбиваться с дороги), вряд ли ученый боялся, что летчики в небе станут предаваться одному из смертных грехов. Кое-кто уверял, будто так говорят все летчики, это примета профессии. Но если уж «для колорита» вводить профессиональный жаргон, делать это надо бы так, чтобы читатель понял, что это именно жаргон, порча языка. Ведь вот летчик из летчиков, прославленный М. М. Громов, вспоминая о своем штурмане, пишет, что тот «никогда не “блуждал” в воздухе»!

И в отечественной поэзии встречаются головоломки.

*Из сердца вон. Потом долюю с глаз,
Как будто мне глаза застлало дымом.*

Что за слово такое – *долою*? Судя по окончанию (вроде метлою), это творительный падеж, но *чего*? Известно существительное мужского рода *дол*, а женского – *дола* – в русском языке как будто нет. Не сразу угадаешь в этой загадочной незнакомке безобидное наречие «*долой*».

В рассказе одного автора человек «сидел... *облокотив лицо на руки, растянув щеки и глаза*»! Картина престранная. И к тому же автор не чувствует, что глагол происходит от *локтя*, не отличает *облокотиться* от *опереться*. Молодой, неопытный? Но ту же странную оплошность допустил и один из самых искушенных наших писателей: у него некто стоял, *облокотясь задом* на стол!

В газетном очерке о большом художнике сказано: он «*рано приобрел знаменитость*». *Приобрести* можно *известность*, художник же сам – *знаменитость*, либо стал *знаменитым*.

А каково: «к нашей неожиданности»? Или «он к этому не имеет никакого прикосновения»?

Грустно читать в интересных воспоминаниях, что не все гимназисты, а лишь избранные были «*обличены* правом носить... медаль». Случайная опечатка? Но дальше: «*обличили* доверием». Ручаюсь, автор прекрасно знает разницу между словами *обличать* и *облечь*, *облекать*. А вот не ускользнуло ли это различие от редактора и корректора?

Читаем в стихах: «Сторожилы-аксакалы». Спрашивается,

кого и что они сторожат? Опять проглядел корректор?

Что такое *безответные голы*? В нашем языке и литературе не редкость *безответное чувство, безответная любовь*. И так же хорошо знаком нам *безответный человек* – забитый, пришибленный, робкий Акакий Акакиевич или Макар Девушкин. Но по всему своему звучанию и окраске никак не подходит это слово к счету, который не удалось сравнить игрокам.

«Сколько за этим напряженного труда, *рас* траченной энергии!» – с искренним волнением и сочувствием говорят с экрана о победителях конкурса музыкантов. Оговорка? Или человек забыл, что *за* траченная, *по* траченная *с пользой* энергия совсем не равноценна *рас* траченной *зря, впустую*?

Не в переводе, в оригинальном рассказе «в темноте... печально вспыхивал и гас *огонек уединенного курильщика*». Надо думать, огонек все же – не курильщика, а его папиросы, курильщик же – не *уединенный*, а *одинокий*. Уединенный может быть уголок, куда удалился человек, искавший уединения, но в применении к человеку это давным-давно устарело.

И опять, опять – слова не в том значении, втиснутые не к месту и не ко времени.

В газетной заметке об аварии, связанной с падением уровня воды в проливе, «сыграла *злополучную роль* перемена направления ветра». *Роль* ветра тут – *зловредная, зловещая, роковая*, какая угодно, а *злополучна* не роль – но корабль, попавший в беду!

«Представление продолжалось». Это напоминает о цирке, об эстраде, а речь о том, что люди *знакомятся*, друг друга представляются!

Телевизионный «Клуб путешественников» рассчитан на самую массовую аудиторию, и вдруг в передаче трижды (значит, не случайная обмолвка) повторяется: «Он *олицетворяет в себе...*» Докажите после этого школьнику, что это – ошибка, что *олицетворять* можно только *собою*, а *в себе* – *воплощать*. Кстати, одно время передачу эту напрасно стали называть клубом... *путешествий*, ведь клуб объединяет *людей*! Хорошо, что хоть и через годы название исправили.

Некий герой «никогда... не *отдаст* своего сына... за... сироту, подобранную на паперти». Неужели переводчику не известно, что *отдавали замуж, выдавали за* кого-то – девиц, а мужчин – *женили* на подходящих (или не очень подходящих) невестах?

Известный писатель пишет, а в журнале, не смутясь, печатают, что женщина сидит не *в головах* у покойника (вспомните Блока: «что ты стоишь три ночи в головах...») – она сидит *в голове*! Нет уж, простите, *сидеть* или *засесть в голове* может только неотвязная *мысль*. Впрочем, возможно, и тут, как с «*обличенными доверием*», грешен корректор. Но читателю от этого не легче.

В солидном журнале пишет о переводном романе серьезный автор, доктор наук. Пишет так:

«Он на редкость соответствует *нашему* национальному

стереотипу о французе: высокий, гибкий, улыбочивый, с тонким интеллигентным лицом, в руках гитара и кудри черные до плеч». Да не усомнятся в моем уважении к автору и к его интересной статье. Но сказать можно: соответствует (уж если!) нашему *стереотипному* (стандартному, устоявшемуся) *представлению* о французе. Или для вящей учености – *стереотипу француза*. А *стереотипу о* – грамотно ли это? И при чем тут незабвенный Владимир Ленский, который «кудри черные до плеч» привез отнюдь не из Франции, а «из Германии туманной»? Всегда ли кстати мы цитируем Пушкина?

А вот печатается отрывок из нового романа: герою предстоит драка, и, глядя на противника, он «*стиснул скулы, переступил с ноги на ногу...*» Но позвольте, в такой обстановке и в таком настроении можно *стиснуть* если не *кулаки*, то *зубы, челюсти* (и тогда обтянутся, резче выступят скулы). А *стиснуть скулы* – это как?

В том же отрывке на героя *смотрит* другой: «...перенес тяжесть тела с одной ноги на другую, поставив локти на теплый металл трактора, *удобно устроил на ладонях ненавидящие глаза...*» У автора вышло совсем не то, чего он хотел: *глаза на ладонях* – значит, ладонями закрыты, но тогда как же *смотреть* и видеть?

В одном рассказе герой *боднул* соседа... плечом!

Роман одного из кавказских прозаиков. В русском переводе читаем:

«Сердце мое *облегчилось*».

«...Когда преодолеешь такое расстояние, где-то оставляешь часть своего горя и дальше уже идешь немного *облегчившись*».

О старухе: «Пускай поплачет, *облегчится*».

И наконец, такое. Толстая женщина на балконе рубила и ела капусту, потом ушла в дом и – «балкон опустел, балкон *облегчился*, похудел балкон».

Если настолько не владеешь русским языком, что не чувствуешь разницы между глаголом *облегчиться* и оборотами *на сердце полегчало, стало легче на душе, идешь налегке*, – не надо браться за перевод, не надо представлять русскому читателю своего собрата в нелепом, карикатурном обличье.

Уж если не всегда и не все пишущие справляются с оборотами и словами, пока еще распространенными, повседневными, не диво иному запутаться в словах старых, более редких. В переводе современного романа вдруг встречаешь: «Доктор... старался говорить с надлежащим *степенством*»!

Доктор, надо думать, старался говорить *степенно*, как оно ему и подобало. Но переводчик спутал два редких слова: *степенность* со *степенством* (второе запало в память прочнее – может быть, от пьес Островского, ибо, как известно, «*вашим степенством*» в прошлом веке величали на Руси купцов).

А ведь это беда! Мы привыкаем к одним и тем же штампам, хорошие и разные слова понемногу забываются, становятся в диковинку. Потом иной автор и вспомнит редкое

слово, но уже не ощущает его по-настоящему, упускает какую-то малость, некое невесомое «чуть-чуть» – и слово оказывается не ко двору. Крохотное смещение оттенков меняет смысл и окраску написанного.

Читаешь, – к счастью, еще не в готовой книге, а в рукописи: «Он был *ревностный* и нежный супруг». Имеется в виду – он был *внимателен, заботлив*, любил и оберегал жену. Переводчик неточно ощущал старое слово *ревностный*, забыл, что существует устойчивое сочетание – *ревнивый муж*. Получилось невнятно, даже двусмысленно. И в той же рукописи человек увлеченный делает свое дело *с ревностью* – вот тут как раз надо *ревностно*, то есть *с жаром, усердно*.

В первом издании книжки этот случай был приведен как смешное недоразумение. Но и эта путаница встречается все чаще, даже в газетах, а значит, внедряется в сознание массового читателя. Так и печатают, что к чьим-то спортивным успехам люди относятся по-разному, но «наши соперники – очень *ревностно*».

Пишут: «*Душа разрешается* от тела», забыв и уже не понимая, что *раз* решается женщина от бремени, душа же от тела – *от* решается.

В Москве выставлен портрет кисти Леонардо да Винчи. Это подлинный праздник культуры, и к нему приобщает молодых читателей газетный очерк. А в нем: «Разве не современно своей пытливостью, *искательством*, ясным умом лицо дамы с горностаем...»

Помилуйте, да разве *искательство* — то же, что *пытливость*, *искания*, *поиски*, *ищущий ум*? Искательство — отнюдь не свойство прекрасной женщины Возрождения, которую обессмертил Леонардо, это «добродетель» нашего льстеца и подхалима Молчалина. Право же, непростительно путать столь разные слова и понятия!

«Он жил с постоянным ощущением своей *обязательности* перед хорошими людьми». Можно сказать «он человек *обязательный*», но перед другими сознаешь, выполняешь *обязательства* или *обязанности*.

«Это не *по его ведомости*», а правильно — *ведомству*.

О городе с нежностью произносят, что он «вечно юный и вечно *старый*», а по мысли и чувству надо бы — *древний* и вечно юный.

В повести весьма опытного, уважаемого прозаика «... каждое слово звучало значительней, серьезней, а значит, *и ранимей*»! Смысл-то *обратный*, *ранимей* стали *те, кто слышит* такое слово, а вот *само оно* стало *ранящим*, сильнее *ранит*!

«Где-то *в вышине*, ровно в *преисподней*, один-другой огонек — это в горах пробираются машины...» Спокон веку преисподняя все же находилась у нас *под ногами*, глубоко *внизу*, об этом говорит и самый корень слова, может быть, автор об этом забыл?

Или вот крупный газетный заголовок: «*Пленящие узоры*». Откуда это? Нет такого слова в русском языке! Автор пе-

репутал, редактор проглядел – и получился уродец, помесь *пленяющих и пленительных*.

Еще из газеты: «Свободное, *проникающее*, идущее от сердца» исполнение (об игре пианистки). Уж если *проникающее*, так надо хотя бы «до глубины души». Но пишущий явно имел в виду *проникновенное*.

«Неделя» сообщает: «В *преклонном* возрасте Хемингуэя спросили: “Какой бы вид спорта вы предпочли сейчас?” Усмехнувшись, он ответил: “С удовольствием бы бегал. Человек начинает осознавать прелесть бега, когда ему стукнет 75...”»

Не странно ли здесь звучит *преклонный* возраст? Хемингуэй – человек огромной энергии, страстный охотник, спортсмен, путешественник – немного не дожил до 62. Конечно, и это старость, но вовсе не столь глубокая. Однако слово *преклонный* становится редкостью, подлинная его окраска уже полузабыта, и в «Неделе» не ощутили ее.

Роман прошлого века, разговор о хорошенькой молодой женщине:

– А кто эта Лавальер?

– Очаровательная *хромуша*.

Конечно же, в переводе классики, да еще в разговоре с графом такое просторечие неуместно. А надо бы взять прелестное и, видно, забытое слово – *хромоножка*.

Один переводчик заставил набожную негритянку говорить сыну-музыканту: «Когда ты играешь на скрипке, я пря-

мо вся *млею*!»! Отличное слово поставлено не к месту, бес­ тактно и безвкусно, потому что переводчик забыл или не ощутил оттенка: *млеть* тут могла бы влюбленная девица, у матери *сердце замирает*. И та же старая негритянка говори­ ла: «Ты своей игрой *славил* дьявола», потому что забылось естественное в этом случае *тешил*.

Конечно, есть счастливые исключения, но общий, обиход­ ный наш словарь становится год от году бедней, ограничен­ ней. Всюду одни и те же наскучившие штампы, каждому незатасканному слову радуешься, как доброму другу.

Говорят и пишут, к примеру: эх, я ошибся, просчитался, иногда – дал маху, даже – сел в лужу... Но часто ли встре­ тишь старое, выразительное – я *оплошал*? У многих лите­ раторов проще, легче рука выводит – *непрекращающийся*, в лучшем случае *непрестанный* шум или плач, но многие ли напишут *неумолчный*?

О подростке пишут: ловкий, находчивый, толковый, реже – смысленый. А как удачно в недавнем переводе: *растороп­ ный паренек*! Отличная находка для competent!

Как славно, выразительно жалуется у одного переводчика старушка: ведь мог бы человек поставить обычное, стертое «Мы теперь старые, *слабые*», ан нет, нашел «Мы старые и *немошные*».

Или вот о мальчике, которому страшно­ вато и неудобно од­ ному в темноте. Проще простого было сказать (так и сдела­ ли бы девять из десяти переводчиков) ему стало *холодно*. А

насколько лучше и как теперь нечасто встретишь: ему стало *зябко*.

Холодно и на душе, и в природе, человек смотрит на серое, зимнее, неприветливое небо – и обычно пишут: небо низкое, холодное, может быть, угрюмое. Но часто ли встретится слово *стылое*?

О холоде не в переносном, а в буквальном смысле тоже напишут скорее, что человеку очень холодно, он промерз, дрожал от холода, реже – застыл, ооченел, и совсем уже редко встретишь *продрог*. И принимаешь как подарок, если начинающий переводчик пишет, что поздние цветы на осенней клумбе *дрогли*.

Ведь как хорошо, не шаблонно... но тоже забывается и отмирает.

Тот же начинающий [*Игорь Воскресенский*] должен был показать, как фантазирует мальчуган – разносчик молока: вечером, в дождь он бредет по деревне с тяжелыми бидонами и развлекается, воображая себя рыцарем, а бегущую рядом собачонку – верным оруженосцем. Он кидается *in the battle*. Спросили еще с десятков молодых переводчиков, как бы они это передали, и все отвечали: *кинулся в бой, в битву*, кто-то прибавил *в гуцу драки, в сражение*. А тот, кто переводил, нашел отличное, редкое, очень подходящее к рыцарским фантазиям юного героя и почти уже забытое слово: *герой кинулся в сечу!*

Сколько таких жемчужинок тускнеет без прикосновения

теплой человеческой руки в сокровищнице русского языка.

Быть может, естественный путь развития и приведет когда-нибудь к тому, что все земное человечество заговорит на едином языке. Тогда, в далеком будущем, быть может, он – единый – и вберет в себя многообразие *всех* языков, и ничего не будет утрачено из богатства всех национальных культур и литературных традиций. Быть может. Но пока дико и смешно всеми этими богатствами пренебрегать. Дико и вредно паровым катком канцелярита заглаживать своеобразие *каждого* языка, распространять все шире общегазетный, общепротokolный волапюк или даже сухой, алгебраический язык общенаучный – и зарывать в землю исконные свои сокровища.

Казалось бы, простая истина, но ее приходится повторять вновь и вновь.

Сводить к бедному, убогому и уродливому «современно-общепонятному» канцеляриту живой, образный язык, живую речь народа, мудрость, задушевность и красоту искусства – преступно. Канцелярит во всех своих проявлениях, а прежде всего обилием чужих, чужеродных слов, отравляет нашу речь. Воистину, по известному старому выражению, *мертвый хватает живого!*

Вольно или невольно ограничивать язык рамками «современно-общепонятного», рамками *фактов* и *ситуаций*, *моментов* и *компенсаций* – все равно, что ту же Волгу и все живые, прихотливые реки и ручьи нашей земли выровнять

по линейчке и заковать в бетон.

Нет уж, пусть язык, как река, остается полноводным, при-
вольным и чистым! Это – забота каждого живого человека,
тем более – забота тех, кто со словом работает.

Туманы...

Один из мастеров нашей современной прозы, автор многих известных книг, признанный стилист, пишет так:

«Стихия музыки, *как предметная значимость, как некогда брошенное милое тело, неодолимо влекла к себе Психею, и она... залетала то под готические своды кирхи, где посередине громадного, некрасивого и холодного пространства лютеранского храма лежала, как бы распростертая на полу, широкая, совсем простая и все же невероятно торжественная, как его собственная органная музыка, могильная плита Баха, в течение многих лет заставлявшая ежедневно звучать неподвижный воздух, хранящий голос Лютера, раздававшийся иногда с трибуны, высоко прилепившейся к каменному столбу, как маленькая неуклюжая беседка, сделанная руками малоталантливого каменотеса, слепого последователя великого реформатора...»*

Фраза еще не кончена, но довольно и этого. Всякий видит: сказано туманно. Цепь придаточных предложений, причастных оборотов и родительных падежей не сразу поддается расшифровке. Но вы перечитаете еще раз, на худой конец дважды перечитаете – и все-таки поймете, что с чем связано и к чему клонится. И конечно, тут не просто нечаянность, огрех: автор с умыслом ведет нас длинными, вязкими периодами, затягивающими, как дурной сон. Ведь и вся повесть

в какой-то мере – о дурном сне...

А это, думается, получилось уже неумышленно:

«Вряд ли (песик) понимал, *что у* нарядной девушки Ренуара с вишневыми губками, в деревенской соломенной шляпке с маками или васильками и с каким-то странным мохнатым существом в руках, в котором (он) хотел и никак не мог признать своего брата собачку, но все же в глубине души чувствовал нечто родственное, *заставлявшее* его еле слышно повизгивать и *еще* шибче кружиться на поводке вокруг все *еще* прелестных ножек... хозяйки».

Вот тут и в самом деле точка. Фраза кончена. А между тем перечитайте ее дважды, трижды – и попробуйте понять, где же тут логическое сказуемое? *Чего* все-таки не понимал песик, *что* было *у* нарядной девушки? Не перемудрил ли часом уважаемый мастер, не упустил ли чего-то в этом хитроумном, сверхсложном построении? Кстати, не заметил он и другого: пожалуй, уже не девушка, а шляпка оказалась «с маками или васильками и с... мохнатым существом в руках»! А читателю и вовсе трудно не заплутаться в этом тумане...

Другой столь же сложный период, раскинувшийся ни много ни мало на половину просторной журнальной страницы, кончается так: «...Пассажиры по старой памяти везут именно отсюда в автобусе за город, где и пересаживают в уже готовый... экспресс с удобными купе, барами, ресторанами, кафетерием и старыми *неграми-проводниками* в золотых очках и белых *перчатках, ласковых и предупредительных*, как доб-

рые няньки из хороших домов».

Надо полагать, не очки и не перчатки были ласковы и предупредительны. Можно отмахнуться – мол, куда глядел корректор. Но, по совести, где тут доглядеть корректору или редактору, если недоглядел сам автор? Человеку стороннему куда трудней на двадцати шести строках, среди десятков придаточных предложений не запутаться, не потерять начисто нить авторской мысли.

Так что же, скажут, нельзя писать длинными периодами?!

Упаси меня боже провозглашать что-либо подобное. Можно, все можно. Можно писать периодами хоть в страницу. Но – так, чтобы читатель мог *понять* написанное!

Слово дано человеку для того, чтобы скрывать мысли, сказал мудрец. Однако в литературе слово призвано все же не скрывать, не затемнять, но прояснять мысли и чувства, приобщать к ним читателя.

Печально, когда литератор не стремится к ясности, считает ее необязательной, даже излишней. Воображает (жестокое заблуждение!), будто простой, короткий, вразумительный оборот ниже его достоинства, и, дабы не уронить себя в глазах читателя, выражается выпенденно и мудрено. Нет, «высокий штиль», крайняя усложненность оправданны и хороши *только тогда*, когда они действительно призваны передать правду образа, характера, настроения. Тогда и читатель их поймет и примет.

Вот, к примеру, переводчики одного из труднейших писа-

телей современности Фолкнера (кстати, переводчики очень разного склада и опыта) совершили подвиг: в «Осквернителе праха», в «Деревушке», в «Особняке» самые головоломные Фолкнеровы периоды по-русски все же построены правильно и до мысли добраться всегда можно.

Не так-то просто передать стиль и манеру каждого автора. Мопассан несравнимо лаконичней Бальзака, Ренар писал совсем иначе, чем Роллан, а допустим, Брэдбери или Сэлинджера не сравнишь с тем же Фолкнером. Классика и современность, романтизм и реализм, эпопея и короткий рассказ, философское раздумье и сатира – все это требует особой интонации, особых слов, разной окраски.

Стиль и манера письма у каждого свои. Никто не покушается стричь под одну гребенку Льва Толстого и Чехова, Алексея Толстого и Олешу. У одних – прозрачная, ясная речь, короткая, предельно четкая фраза, у других – длинные плавные (или совсем не плавные!) периоды, усложненное повествование, требующее внимания и вдумчивости. Уж какими могучими глыбами громоздится проза Льва Николаевича! Но, согласитесь, читая толстовскую страницу, всегда понимаешь, с чего он начал, к чему ведет и чем кончит.

Разговор не о современных зарубежных экспериментаторах, не о тех, кто пишет темно и невнятно из принципа, да еще и знаков препинания не признает. Как правило, люди все же пишут для того, чтоб их *понимали*.

И однако написанное остается подчас невразумительным.

Непонятым аж до головной боли. Один литератор искусством простоты и ясности еще не овладел, другой из принципа не считает нужным стремиться к простоте, а третий о ней и не задумывался. Один строго отбирает и выбирает слова, отбрасывает все лишнее, добивается сжатости и ясности. Другой не боится лишних слов, фраза у него кудрявая, прихотливая или широкая, размашистая... Может показаться, что и речь тогда свободнее, палитра богаче. Но подчас неразборчивость мстит довольно жестоко.

Попробуйте сразу понять, что бы это значило:

«Они... принимали эти *сведения* с рассеянным безразличием, какое мы обычно числим за участниками великих войн, *изнуренных* бранными трудами, *старающихся* только не ослабеть духом при выполнении своего... долга и уже не *надеющихся* ни на *решающую* операцию, ни на скорое перемирие».

Перечитав эти строки раз-другой, вы убедитесь, что изнурены бранными трудами, стараются не ослабеть духом и уже ни на что не надеются... *не кто-нибудь, а войны!* Наверно, и редактор, и даже корректор, сбитые с толку сложным построением этой многоэтажной и многоспиральной фразы, не заметили, недоглядели...

Ну а если бы заметили? Исправили бы согласование? Получилось бы *безразличие*, какое мы... числим за *участниками*... войн, *изнуренными бранными трудами, старающимися*... и не *надеющимися*...

Не было бы неправильного согласования и прямой бессмыслицы в одном месте, но совпали бы падежи при нескольких причастных оборотах – и образовалась бы другая невнятица и путаница. И это не случайность, а *свойство канцелярита*: затруднять восприятие, путать мысли, наводить на читателя (помните рассказ Чехова?) сонную одурь.

И тут, как всегда, смыкаются канцелярит отечественный и буквализм переводческий. Истово, слово за словом переводя иноязычный текст, рабски сохраняя чужой синтаксис, чужие грамматические формы, переводчик невольно впадает в то же самое туманное многословие и не всегда умеет «отредактировать» сам себя. А порою и редактор не помогает отбросить лишнее, напротив – у переводчика сказано свободнее, а иной рачительный редактор «притягивает» его поближе к подлиннику. Отсюда такие противоестественные построения:

«Ты единственная женщина, *какую я когда-либо любил*». Выходит совсем нелепо, как будто говорящий любил давно и уже успел разлюбить! А надо бы просто: До тебя я никогда никого не любил!

Обороты вроде «*из всех, кого я когда-либо встречал, ты единственная, кто покорил мое сердце*» – классическая калька. Это очень обычное канцелярски-переводное построение въедается уже не только в перевод. А не лучше ли хотя бы: Многих женщин я встречал на своем веку, но *ты одна, ты единственная*, но *только ты* покорила...

Из всех живущих в Англии этот самый богатый человек в тот день был самым несчастным.

Я был первым, кто это обнаружил.

Самый богатый человек в Англии, он был в тот день и самым несчастным.

Я первый это открыл.

Чужой синтаксис выпирает, точно каркас плохого зонтика, так и хочется перевести все это обратно на язык подлинника!

«И здесь перед нею был (сын), хорошо знавший о всех ее хитрых уловках и о лживости ее, и здесь она сама с глупым и фальшивым лицом» – так переданы в одном старом переводе горькие материнские раздумья. А верней примерно так: *И вот* ему стали известны все ее хитрости и обманы, и она *чувствует себя* такой фальшивой и глупой...

Если упомянут человек, *«решительно настроенный не упустить такое зрелище»*, не лучше ли: он ни за что не упустит...

«Поймать зверя было одной из главных причин, почему мы отправились туда». А можно хотя бы: отправились... прежде всего затем, чтобы поймать...

«Взять его с собой не повредит». А грамотнее: *не вредно!*

«Они могут отказаться принять мой подарок». Нормальный человек скажет: *пожалуй, не примут*, либо – *может быть, откажутся* от подарка.

Такое выводит бесталанный или нерадивый переводчик, бездумно копируя строй чужого языка. Но так пишут и наши журналисты, публицисты, прозаики, такое построение встречается все чаще – и ни ясности, ни выразительности написанному не прибавляет.

«...Мы являемся теми, кто больше всего видел льющейся крови», – читаем в переводе 30-х годов. Сложное построение с придаточным предложением. Откуда? Зачем? Да попросту без всякой нужды переведен вспомогательный глагол: по-французски без *avoir* или *être* нельзя, а по-русски получается канцелярит.

В сверхсовременном тексте: «Даже *будучи* нетрезв» (а почему бы не *подвыпив*?); «*будучи* совершенно трезвым, он казался хмельнее, чем *сидя* в баре за стаканом вина».

Никчемные чужие глагольные формы лишены содержания и только утяжеляют фразу.

Но ведь этим «является» и «будучи» и не в переводах счету нет!

«Эта сказка *остается любимой* детьми и с наслаждением *читается ими*». Помилуйте, да почему не сказать хотя бы: «Эту сказку и *сейчас любят* дети и с наслаждением *ее читают*!» Ведь и яснее, и убедительней, и, как говорится, динамичнее! Но нет, тот, кто произнес по радио эти слова (сам писатель, да еще обращался он к детям!), предпочел *пассивный оборот*. А пассивные обороты – верный и неременный признак канцелярита.

Давно известна истина: нельзя переводить иноязычную фразу слово за словом. Прежде всего надо перестроить ее по законам *своего* языка. В немецкой, французской, английской фразе порядок слов почти всегда определен строгими рамками и правилами, которые ломать нельзя. Русские подлежащие и сказуемые, определения и дополнения куда подвижнее.

Но подвижностью этой не надо злоупотреблять (даже и не в переводе!), иначе получится бессмыслица вроде рассказов «Про пожары для детей»: кто и зачем, любопытно знать, устраивает *для детей* пожары?!

Очевидно, назвать надо было по-другому, хотя бы «Детям – про пожары».

И всякий раз переводчику очень важно определить для себя *степень свободы*, какая допустима в обращении с подлинником.

Перестраивая фразу по-русски, всегда можно найти равноценную замену любому (значимому, а не вспомогательному!) слову, образу, выражению подлинника. Но вовсе незначем непременно «сдавать слова по счету». Порою для верной интонации, даже для ритма вместо одного слова понадобятся два, иначе фраза окажется оборванной, незавершенной. А иногда вместо трех слов довольно одного. Но это, как правило, свобода *в рамках фразы*. Как говорится, от точки до точки. Очень редко можно позволить себе разорвать фразу автора или, напротив, слить две воедино. У каждого автора

– пусть он не гений, не классик, а самый заурядный рассказчик – своя интонация и свой замысел, своя логика. Нарушать их переводчик не вправе. Но строй прозы должен быть ясен, ясной, естественной должна быть каждая строка. Порядок слов в каждой фразе должен быть непринужденным, чисто русским, пусть она звучит по-русски. Только по-русски – и в переводе тоже, непременно! В переводе – так же, как и в прозе отечественной!

Не своим голосом

Помните, у Некрасова в Ледовитом океане лодка утлая плывет и молодой пригожей Тане Ванька песенки поет?

*Хорошо поет, собака,
Убедительно поет...*

Да, объясняться в любви не только стихами, но и прозой надо *убедительно*, иначе Таня Ваньке не поверит.

А меж тем в сотнях рассказов, романов, очерков, переводных и отечественных, разные люди по разным поводам разговаривают так, что кажется, вот-вот сотни тысяч читателей отзовутся знаменитым громовым «*Не верю!*» Константина Сергеевича Станиславского...

Все язвы и уродства канцелярита, о которых уже говорилось, вдвойне безобразны и нетерпимы в *живой речи* героев.

Кто поверит герою старого романа, если он объясняется так: «Я убедился, что *ваша прекрасная внешность соответствует вашим душевным качествам*».

Звучит совсем как пародия! А надо хотя бы: убедился, что *душа ваша так же прекрасна, как и лицо*.

И девушка на это отвечает: «Я ценю *оказываемую мне честь*».

А что бы ей ответить: Вы оказываете мне большую честь,

либо: Это для меня большая честь, либо уж: Я очень польщена...

Мы настолько отравлены канцеляритом, что порою начисто теряем чувство юмора. И уже не в романе, а в жизни, в самой обыденной обстановке человек вполне скромный всерьез говорит другому: «Я выражаю вам благодарность».

Он не чувствует, что это не только вычурней, напыщенней, чем хотя бы *я вам очень благодарен*, но и попросту нескромно: *выражают* или *выносят* благодарность в случаях торжественных, официальных, в приказе. В обычных же условиях мы *благодарим* друг друга – проще да и теплее. А уж если выражаться почтительно и немного старомодно, можно благодарность (и даже нижайшую!) не *вынести*, а *принести*.

«Тогда я *нанесу ему визит*», «Я *доложу* ему о нашем разговоре» – читатель подумает, что беседуют дипломаты. И ошибется: разговаривают *он* и *она*. «Я *должна* тебе кое-что *доложить*» – это из самого что ни на есть личного разговора. А вот, не угодно ли, о свиданиях влюбленной пары: *график* свиданий! Тут казенное словечко еще и неверно: никто не составлял заранее *графика* свиданий и никто не вычерчивал кривую прошлых, уже состоявшихся встреч.

А ведь и в жизни, и в хорошей книге *речь* должна быть *убедительной, правдивой, достоверной*.

Литераторы подчас забывают, что *у разговорной речи свои законы*. Многие слова, обороты, построения, которые в ав-

торском повествовании возможны, порой (не очень часто!) нужны, порой (с грехом пополам!) прощительны, совершенно невозможны, противоестественны в речи живых людей.

Но вот разговор:

– О вашей идее... никто из них ничего еще не знает. И давайте сообщим *им ее* не сразу...

– А как бы подведем их самих к *мысли о желательности ее осуществления* у нас... – *горячо подхватывает* (собеседник).

Попробуйте горячо (а значит, быстро) произнести такую фразу!

Роман конца прошлого века, тот самый, где влюбленный говорил девушке о ее «душевных качествах». В час банкротства человек взволнован, потрясен, но при этом изъясняется так:

– *Мы не можем допустить, чтобы вы пошли на это, не будучи осведомлены* (об истинном положении дел), – как ты считаешь, брат?

Естественней примерно: Ведь это такой опрометчивый шаг, мы обязаны вас предупредить – правда, брат?

Еще из объяснений в любви: «Вы уже немного знаете, что я человек состоятельный, но мне бы хотелось, *чтобы это не влияло на ваше отношение ко мне*».

Это говорит не сухарь или денежный мешок, нет – ученый чудак, человек достойный, притом одинокий и несчастливый. И верней хотя бы: Пожалуйста, *сейчас не думайте об*

этом (забудьте), либо: Я хотел бы, чтобы сейчас вы об этом не думали.

— Скажите, могли бы вы быть счастливы, имея мужем вот такого человека, как я?

— Вы уже немного знаете, что я за человек, — могли бы вы быть счастливы с таким мужем?

Девушка отказывает жениху, потому что ей сделал предложение другой, богатый. Но об этой причине она лицемерно умалчивает:

Со времени разорения моего бедного отца я не могу допустить мысли, что из-за меня ты жертвуешь своей карьерой. (Помимо канцелярита здесь еще и двусмысленность!)

Тщательно взвесив все обстоятельства, я решила освободить тебя от твоих обязательств.

Кто поверит, будто живые люди тревогу, волнение, радость, ревность, злость выражают так:

С тех пор как мой несчастный отец разорился, мне нестерпимо думать, что из-за меня ты жертвуешь своей карьерой.

Я все (тщательно, хорошо) обдумала и решила освободить тебя от твоего слова (или, как говорили в старину, вернуть тебе твое слово).

Не естественней ли, не достовернее ли сказать хотя бы так:

— Я кое-что знаю
о причинах внимания,
которым он окружает вас.

— Я знаю (*догадываюсь*),
почему он к вам так
внимателен.

Девушка почти в истерике выгоняет из дому того, кто, сам не подозревая, помешал ее помолвке с другим:

— Это твое последнее
слово? — спрашивает он. —
Последнее слово, которое ты
от меня слышишь.

— Да, последнее, больше ты
от меня ничего не услышишь
(или уж: Да, последнее, между
нами все кончено!).

Недобрый старик, да еще хмельной, огрызнулся в таких выражениях:

— Я не позволю, *чтобы* меня *постоянно отодвигали* на задний план.

А надо бы:

— *Нечего* меня (*вечно*) *оттирать*...

Такая речь трижды нелепа и неправдоподобна в книгах очень современных, в устах героев нынешних (а подчас и полезавтрашных – в фантастике!).

Не странно ли, что бойкий журналист в разгар стремительно несущихся событий говорит обстоятельными, гладкими, зализанными фразами из учебника: «Вы не возражаете *против того, чтобы* я включил магнитофон?»

А естественней (да еще при таком характере и профессии, в такой обстановке!) просто: Я *включу* магнитофон – *не воз-*

ражаете?

Из другой книги. Муж разговаривает с женой: «Так случилось, что необходимость в приобретении... заповок совпала с достаточным для их покупки количеством денег в моем кармане». А нужно: Мне понадобились приличные заповки, и я как раз был при деньгах.

И чуть дальше: «Мы договорились... что не позволим себе опуститься и стать неряхами, как это происходит с некоторыми семейными парами, занимающимися разведкой планет... Ты, наверно, помнишь ту ужасную пару... мужа и жену, пригласивших нас пообедать...»

Рассказ-то, конечно, фантастический, где же еще супружеская чета может заниматься «разведкой планет». Но вряд ли даже в самых фантастических условиях, в самом дурном сне люди разговаривают эдаким языком!

Из семейной ссоры в современном детективе: «По крайней мере я могу поведать миру, что ты на самом деле собой представляешь и как ты обращаешься со мной».

У автора I can let the world know тон летописца или пророка ни к чему, жена сгоряча крикнет примерно: *Всем расскажу* (все узнают), *какой ты* на самом деле и как со мной обращаешься!

Врач – больному: «Покажите мне, как глубоко вы можете вздохнуть».

Буквально – и совершенно неправдоподобно. Тот, кто вывел это на бумаге, наверняка не раз слышал и сам: «А ну-ка,

вздохните поглубже...»

В сердцах, в жарком споре люди говорят так:

— ...с тобой я никогда не был полицейским, — сказал он *напыщенно* и *возмущенно* (хоть бы — со злостью!).

— Да ты вообще *ни разу в жизни не был ничем другим. И не можешь быть*. Фараон уже никогда человеком не будет.

Право, *этой* женщине в *таком* разговоре естественней было бы выражаться иначе. К примеру: Да *ты всю жизнь такой!* И *не переменяйся, куда тебе!* Фараон — он фараон и есть!

Легкая, насмешливая полупритча-полусказка. Но в первом варианте перевода фантастические персонажи разговаривали так, как показано в левой колонке, хотя лучше бы — как показано справа:

— Ты совсем не изменился с тех пор, как я видела тебя (столько-то) лет тому назад.

— Будут мужчины спорить за право танцевать со мной первыми?

— За те годы, что мы не виделись (за столько-то лет, что...), либо:

— Мы столько лет не виделись, а ты ничуть не изменился.

— И мужчины будут наперебой меня приглашать?

— Они *будут* (!!!)

— А в городе все увидят меня красивой? Это не просто воображение или твое притворство?

— Да, еще бы! (или даже — все как один! Ибо тут важна не буква, а окраска, тон)

— ... увидят, что я красивая? Может быть, ты меня обманываешь?

Поневоле вспомнишь, как бойко и бездарно переводила хорошенькая *mademoiselle* в «Дорогих уроках» Чехова...

Или: «Да, черт подери, компания была невеселая, клянусь, *нет!*» Нет, не верится! Ни во сне, ни в бреду, ни в пьяном виде живой человек так не скажет. Так может написать только обделенный слухом и чутьем переводчик-формалист. Суть и настроение, а не форму этого сердитого возгласа наверняка лучше передаст что-нибудь вроде: Да, невеселая была компания, черт подери, можете мне поверить. Или тоном выше: Вот провалиться мне, компания была не из веселых!

Плохо, если герой книги изъясняется неестественным, «не разговорным» языком. Ну а если он вдруг заговорит «не своим голосом»? Беда, если автор не слышит неуместной развязности, никчемной выпренности, фальшивых интонаций.

Трудно поверить, что врач способен заявить тяжелобольному, да притом давнему своему другу: «И вот, *глядя на вас сейчас и принимая во внимание состояние вашего здоровья*

вообще, я полагаю, что вы проколачиваетесь с нами еще несколько месяцев, а то и лет».

Спешу успокоить читателя: до печати дело не дошло. Переводчик пытался передать *to be around* нестандартным оборотом, но где же, как говорится, был слух его души? Получилась смесь кальки и развязности, по меньшей мере странная в *таком* разговоре. Мужественному человеку, другу врач может сказать правду, но не теми словами! Естественней и тактичней: думаю, *вы протянете, продержитесь* еще несколько месяцев.

Интонация говорящего зависит от его нрава, от всей обстановки и настроения. Тут в переводе никак нельзя рабски следовать форме, синтаксису подлинника. Энергичный, напористый, грубоватый человек скажет скорее

не так:

— Здесь нужно все уничтожить.

— Вы нам вовсе не нужны!

— Выхода нет, *так как* дело наше *не терпит промедления* (а получается длинно, долго и медленно!)

а иначе:

— Мы тут не оставим камня на камне.

— Обойдемся без вас!

— Выхода нет, дело наше *спешное!*

И если человек спешит, станет ли он выговаривать

нескончаемое: «Иду *незамедлительно*»?

Совсем иначе звучит каждое слово у литератора, наделенного подлинным слухом, душевным чутьем.

Лирическая повесть. Две старушки совершили легкомысленный не по годам поступок – купили машину, не очень умея ею управлять, покатали по улице и чуть не задавили человека.

– Как ты думаешь, он умер?

– Мистер К.?

После недолгого молчания следует короткий ответ: «Да». И если так сделать в переводе, смысл ответа окажется: «Да, умер». Поэтому переводчик отходит от буквы подлинника, и ответ звучит иначе: «Кто же еще...»

Все окончилось благополучно. Старые проказницы больше не будут кататься по городу, но им разрешено оставить машину у себя. И поначалу переводчик написал: «*И на том спасибо*». Но спохватился: уж очень лихо получается для этих старушек, для их настроения, ведь они еще не оправились от испуга. И переводчик находит психологически и стилистически верный тон: «*Все-таки утешение...*»

Речь старика. В подлиннике дословно: «Я знаю, у вас самые похвальные намерения. Но *так как я нахожусь уже* в весьма почтенном возрасте, *то* с моими желаниями *все-таки следует считаться в первую очередь...*»

В переводе: «...но я все-таки уже *достиг* весьма почтенного возраста. И с моими желаниями *не грех* считаться...»

Переводчик не следует покорно и слепо за подлинником, отбрасывает все лишнее, перестраивает фразу по-русски, и она становится ясной, непосредственной, ей веришь. Ибо служебные, подсобные слова и словечки в живой речи нередко оказываются помехой. Фраза спотыкается, точно у иностранца – новичка в русском языке.

«Как я могу быть уверен, что вы не придумаете все, что хотите?» Нормальный человек, даже и полицейский комиссар, скажет хотя бы: *Откуда мне знать, что вы не выдумываете?* (А допрашивая человека попроще, он и сказал бы, пожалуй, просто: Почему я знаю, может, вы все врете.)

Как известно, в английском языке практически нет местоимения *ты*. Англичанин беседует на *ты* только с богом, да иногда – в высокой поэзии, чаще всего в прошлые века – с возлюбленной. Но когда у переводчиков-формалистов бродяги, воры, дети (например, в «Оливере Твисте») разговаривали «на вы», когда «на вы» почтительно обращались к собаке, кошке, младенцу, по-русски получалось нелепо и фальшиво.

В старом переводе известного романа Уэллса вспыльчивый Невидимка гневно кричал: «Не уроните книги, *болван!*» Но этому переводу добрых полвека.

А вот, не угодно ли, не столь давно в переводном рассказе один герой *пролаял* другому: «Куда лезете!» А в современном детективе полицейский – сущая горилла! – говорит так: «Бросьте пороть чепуху. Не думайте, что я настолько глуп,

чтобы слушать вас».

Уж до того гладко, до того книжно...

По-английски никак нельзя написать, допустим, *he touched the brow with a hand* или *he put a hand in the pocket*, а надо: *his brow, his hand, his pocket*. По-русски совершенно ясно, что человек сует в карман или подносит ко лбу *свою* руку, а не чью-либо еще. Чаше всего, если лоб или карман – его собственный, это ясно и так, особо оговаривать незачем. Надо лишь оговорить, если он тронул чей-то чужой лоб, скажем, лоб больного ребенка, либо запустил руку в *чужой* карман.

А вот у неумелых переводчиков или у буквалистов и формалистов то и дело читаешь: он сунул *свою* руку в *свой* карман, он провел рукой по *своим* волосам...

Но заметьте, у иных литераторов и не в переводе множество лишних местоимений, мусора вроде: Я позвал *его* в *свою* новую квартиру вместе с *его* женой, и они пришли вместе со *своими* детьми.

Говорят даже так: «Заткни *свою* глотку!» Право, местоимение тут столь же необязательно, как в возгласе «Хоть *ты* плачь!». Или в сообщении: «К нему вернулась *его* прежняя твердость духа» – чья же еще?!

Особенно некстати лишние местоимения, союзы, связки в отрывистом взволнованном диалоге.

- Будешь ли ты добр ко мне? — Ты будешь добр ко мне?
(или: ты не обидишь меня?)
- Да, я буду добр. — Да. Буду (или: нет, не
обижу). А еще естественней
просто:
- Я верю тебе. О, я верю. — Буду или да (или — нет)
- Верю тебе. Верю.

Изумленный отец услышал, что богач просит руки его дочери.

«И что же ты *ему* на это сказала?» А в подлиннике очень коротко, даже отрывисто: «And you said?» – «Что же ты сказала?» (или даже: Ну, а ты?) И дальше: «And you will say...»

- Каков же будет твой ответ? — Что же ты ответишь?

Почти всегда лучше *отсеять вспомогательные глаголы, неизбежные в западных языках*. Это тоже – азбука профессии. Вспомогательный глагол с инфинитивом делает фразу тяжелой, громоздкой. Незачем переводить «смог наконец разгадать», «мог отчетливо видеть» – все эти can и could в русском тексте не нужны. (Однако тем же постоянно грешат и не переводчики.)

«Я могла бы быть готовой к завтрашнему дню, если б это было нужно». Истово переданы все чужие глагольные формы, но кто же поверит, будто живая женщина так разгова-

ривает? Скажет она, разумеется, проще: *Я буду готова хоть завтра, если надо.*

Столь же невозможен, фальшив такой канцелярит и во внутренней речи, в раздумьях. А ведь внутренний монолог, поток сознания так обычен в современной прозе. В западном оригинале местоимения *он, она* все же остаются, по-русски они не обязательны, и в переводе лучше раздумья и ощущения передавать безлично или *от первого лица*. Сколько-нибудь чуткий переводчик всегда поймет, где и как это можно и нужно сделать. А нечуткий загубит самую трагическую страницу.

Развязка хорошего романа, развязка бурной судьбы. Человек умирает. Смутно, в полубреду воспринимает он окружающее; обрывки ощущений – мучительная боль, жажда – перемежаются обрывками мыслей, воспоминаний... И вот как это выглядит в переводе:

«Ему больно. Он ранен. Очевидно, он жертва какого-то несчастного случая... Он хочет поднять руку – руки в кандалах... ему хотелось бы попить еще... ему больно. У него болит все... очевидно, о нем позаботились, перевязали его раны. И вдруг одна мысль пронизывает его дремлющий мозг. Ему ампутировали ноги. Какое значение имеет это теперь. Его ноги... Ему хотелось бы знать...»

«Ему больно» и «его ноги» – снова и снова повторяются эти слова на нескольких страницах и вкуче с канцеляризмами начисто разрушают впечатление. А ведь эту смертную

муку надо передать по-русски так, чтоб за душу хватало. И правдивей вышло бы, дай переводчик все это изнутри. Хотя бы так:

Больно. Он ранен. Наверно, случилось какое-то несчастье... Поднять бы руку – руки в кандалах... Попить бы еще. Больно. Болит все: рот, ноги, спина... Видно, о нем позаботились, перевязали раны. Внезапная мысль пронизывает дремлющий мозг. Ему отняли ноги! Теперь уже все равно (или – *не все ли равно?*). Ноги... Надо бы узнать...

Другая книга, совсем иная картина, мысли и чувства в ином ключе: бешеная скачка, погоня, человек едва не погиб. У автора дословно: «*Как он потом рассказывал, ему пришло на мысль, что за кустами не может таиться опасность, иначе лошадь почуяла бы и шарахнулась...*»

В подлиннике фраза не получается такой тягучей хотя бы потому, что английские слова сами по себе – *короткие*. А по-русски выходит длинно, вяло, и читатель остается равнодушным.

И правильнее передать эту сценку сиюминутно, в движении, передать мысли и ощущения такими, каковы они *сейчас*, во время погони: *Но нет, там, за кустами, не может таиться опасность.*

Между тем нередко пишут так: «...[это] породило в ней еще большую уверенность в своих силах и умении достичь очень многого, стоит ей лишь пожелать». А надо бы примерно: [это] укрепило ее веру в свои силы – да, конечно, она су-

меет достичь многого, стоит только пожелать!

Раздумья другого героя:

Он должен немедленно
ее увидеть.

Рассказать бы ей историю
этого дома! *Но этого он не
может сделать.*

... Уж так устроен человек:
*знает, что все это сплошное
мошенничество, и все-таки
надеется, что ему повезет.*

Естественней было бы:

Надо сейчас же ее увидеть.

...Да нельзя!

...И знаешь... *а все-таки
надеешься: вдруг повезет!*

Еще попытка изобразить внутренний мир героя. Поверите ли вы, что человек *думает и вспоминает* так:

«[Европа]... где так много людей голодало и где в то же время некоторые обладали достаточными средствами, чтобы покупать шампанское, икру и женщин в ночных кабаре, где (герой, музыкант) выступал...»

А вернее передать раздумье примерно так:

...там столько людей *голодает*, зато *кое у кого вдоволь денег* и на шампанское, и на икру, и на женщин в ночных кабаре, где он выступал...

Это тоже прием: передавая *мысль, ощущение*, по-русски естественней ввести *настоящее время*.

Очень важно это умение показать героя *изнутри*, передать его раздумья и ощущения убедительно, достоверно.

**Переводчик-буквалист
пишет, к примеру:**

... в зале есть и белые,
а они-то *не являются моими
друзьями*

У меня была мечта, которая
теперь уже не может быть
осуществлена... Я мечтал,
пока не заболел и вынужден
был вернуться на родину.

А вот мысли и настроения
неграмотной старой
негритянки — матери
героя: *Его мать считала,
что ее сыну оказывают
большую честь тем, что
пригласили его выступить
перед учениками в школе для
белых...*

Неужели все такие или это
свойственно только мне?

**Живой человек,
разумеется, думает иначе:**

... а они — *не друзья мне*

У меня была мечта, теперь
уж ей не сбыться... А потом
я заболел, и пришлось
вернуться...

В переводе надо убрать
все лишнее — и говорить
(думать) за нее и от нее:
Мать была польщена: какая
честь, сына пригласили
выступить в школе для белых!

Неужели со всеми так? Или
это я один такой?

После непривычной передряги герой выбился из сил, но еще возбужден и рассуждает буквально так:

Мне следовало бы раздеться. Я весь мокрый от пота. Теперь надо выпить побольше виски, чтобы не простудиться.

Герой немолод, притом человек кабинетный, но сгоряча он скажет не так вяло. Вот почему в книге напечатано:

Не догадался, надо было раздеться. Весь взмок, хоть выжми. Надо выпить побольше виски, а то еще схвачу просту-

ду.

Упрямая старуха решает открыть неподатливую дверь «хотя бы ценою собственной жизни». Лучше и это передать как бы от нее самой, к примеру: *жива не буду, а открою*, решила она.

Когда в книге разговаривают дети или люди не очень культурные, когда человек спешит, волнуется, сердится, захвачен любым сильным чувством, особенно фальшиво и неуместно каждое лишнее слово, гладкопись, казенщина, сложные синтаксические построения. От этого надо избавляться во что бы то ни стало. Лишь тогда читатель в каждом случае поверит, что *такой* человек, в *такой* обстановке, в *такие* минуты и вправду говорит и думает именно так, а не иначе.

Веревка – вервие простое

Известно: наш век – век науки. И как жадно поглощают читатели всех возрастов книги, брошюры, статьи, рассказы о самых разных областях знания! Особенно важно увлечь поэзией познания читателей молодых – уж наверно они-то, сегодняшние студенты, школьники, и откроют в третьем тысячелетии многое, еще неведомое человечеству.

Но ведь ясно же, что с таким читателем надо говорить увлекательно, доступно, живо. Это вовсе не унижает науку. Как великолепно, каким образным, доступным по тому времени языком написана не просто статья – диссертация Чернышевского! Скольких юных читателей покорили на всю жизнь, помогли выбрать путь и профессию книги Фарадея, Тимирязева, Ферсмана! И разве искусство такого рассказа совсем утрачено? Прекрасно умели увлечь читателей, к примеру, Д. Данин, иные авторы альманаха «Прометей» или отлично придуманной страницы «Клуб любознательных» в «Комсомольской правде». Как просты, нужны и полезны рассказы о природе В. Пескова, статьи Я. Голованова – всех не перечить. Жаль только, о науке, даже об искусстве, о поэзии гораздо чаще пишут совсем, совсем по-другому.

«Анализ полученного синтеза восприятий обнаруживает ряд отдельных ощущений, слившихся в одно сложное впечатление».

чатление».

«*Сайентификация* материально-вещного производства в результате вторжения науки как непосредственной производительной силы происходит одновременно с индустриализацией самой науки».

«О предках обычно говорится, что они – основоположники современного населения соответствующих мест».

«Основная *цель выхода* в космос заключалась в *выяснении возможности передвижения* с помощью реактивного устройства...»

А ведь куда проще, естественней сказать хотя бы: Человек *вышел* в космос прежде всего затем, чтобы *выяснить, можно ли там передвигаться*...

«Это явилось одним из главных обстоятельств, которые способствовали сохранению местной фауны». А надо бы: главным образом поэтому и сохранилась фауна.

Еще двести лет назад Хемницер в известной басне высмеял «метафизика», который, вместо того чтобы ухватиться за веревку и вылезти из ямы, философствовал: «Что есть веревка?.. орудие... слишком уж простое», и так надоел отцу глубокомысленными рассуждениями, что тот ушел и оставил «метафизика» сидеть в яме. Отсюда и пошла как насмешка над мнимой ученостью поговорка «веревка – вервие простое».

Посмеялся и Гоголь над школяром, что для пущей важности ко всякому слову приклеивал латинское окончание (ло-

пата – лопатус!), пока не наступил на другое «орудие простое» и не получил удар по лбу. Тут уж латынь вылетела из головы и слетело с языка не «граблиус», а самое обыкновенное: «проклятые грабли!».

А нам не изменяет ли подчас это прекрасное чувство юмора?

«Композиция люстры базируется на лучших традициях отечественного люстростроения» – это ли не лопатус?

Нечто «имеет тенденцию быть результатом количественного сочетания трех факторов» – чем не вервие простое?

«Руководство совхоза, а также мастера высоких урожаев *благодаря применению своей творческой инициативы* изыскали в местных лесах большие залежи старого навоза» – не правда ли, форма соответствует содержанию?

До чего же мы любим умные, солидные слова. Звучит так учено, так красиво:

«Как *трансформировалось* наше представление об Африке» – а почему бы не сказать *изменилось, преобразилось*?

Или: «По итогам *плебисцита шахматных обозревателей* Карпов назван лучшим шахматистом года». Заглянем в словарь: плебисцит буквально «решение народа» (лат.), всенародное голосование для решения особо важных, государственных вопросов. Стоит ли поднимать на такие котурны (то бишь ходули) шахматных обозревателей и их мнение по животрепещущему, конечно, но все же несколько менее важному поводу?

Учитель истории повел ребят в Петропавловскую крепость: пускай своими глазами увидят место казни декабристов, сердцем ощутят, в каких страшных стенах, за какими решетками довелось годы, а то и десятилетия провести многим лучшим людям России, в каком каземате, при скупом свете из крохотного оконца, Чернышевский написал «Что делать?». Но с порога, точно фальшивая нота, резнуло объявление: такие-то и такие-то объекты... *музеефицированы!* Откуда взялось это слово-урод? Кому и зачем оно нужно?

И уж когда научный или технический термин необходим и незаменим, тем важней не окружать его другими мудреными, непереуверенными словечками. Их надо избегать всегда и везде, если ту же мысль, то же понятие можно выразить по-русски.

«Причиной моего отказа дать им разрешение на немедленную консультацию с ним было то, что это время уже заранее было зарезервировано». Если тут уместна *консультация*, тем более не нужно второе иностранно-казенное слово (не забудьте, ни у *reserve*, ни у *consult* по-английски ничуть не обязательна строго официальная окраска!). И вполне можно все это сказать куда проще: *я отказал им* (не позволил, не дал им сразу поговорить), потому что *на это время была уже назначена другая консультация* (потому что в этот час на прием к консультанту должны были прийти другие).

На одной странице журнала ратуют за чистоту языка, а на другой (и не в переводе!) автор, человек ученый, *резервиру-*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.